Елена Арсеньева

Госпожа сочинительница

Исторические новеллы о любви

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Главное предназначение женщины – заботиться о муже и детях, вести домашнее хозяйство. А если этого мало? Если в сердце горит огонь творчества, если любовное чувство выражается в виде поэтических строк? Для таких дам один путь – заняться литературой. Но на этом пути встречается столько терний и невзгод, что судьбам поэтесс позавидовать трудно. И все же – они прекрасны! О том, как жили и творили Зинаида Гиппиус, Каролина Павлова, Марина Цветаева и другие, прославившие себя в веках поэтессы, читайте в исторических новеллах Елены Арсеньевой…

- Елана Арсеньева
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7

Елана Арсеньева
Костер неистовой любви
(Марина Цветаева)

Как-то раз, туманным ноябрьским вечером 1924 года, на Карловом мосту, что над рекой Влтавой в Праге, стояла, низко перегнувшись через перила, какая-то женщина и смотрела на воду. В этот поздний, очень поздний час больше ни одного человека не оказалось ни на мосту, ни на набережной, и некому было или удивиться: «Что она там высматривает, ведь ничего не видно!» – или встревожиться: «Не задумала ли недоброе?»

На эту женщину смотрел лишь каменный всадник по имени рыцарь Брунсвик. Его статуя находилась не на самом мосту, а ниже у реки, однако он часто видел здесь эту женщину. Он ей нравился, и знаменитый пражский рыцарь знал это (если статуи, конечно, могут что-то знать). Она смотрела в его суровое и задумчивое каменное лицо с дружеской улыбкой и что-то тихонько шептала. Однажды она пришла с каким-то мужчиной и показывала ему Брунсвика, словно знакомила со своим другом. И сказала:

– Я люблю его. Он очень похож на меня!

Мужчина рассмеялся. А рыцарь, пожалуй, обиделся бы – если бы каменные статуи могли обижаться. Ну что за глупости, как он мог быть на нее похож?!

На ее узких губах, которые беспрестанно шевелились (женщина была говорлива), лежала легкая усмешка. У нее был отрешенный взгляд, но иногда он менялся, становился цепким, вдумчивым – если тот, с кем она шла, оказывался достоен всматривания и сочувствия.

У нее были стриженые темно-русые волосы и короткая челка на лбу. Руки – сильные, с широкими ладонями, с пальцами, на которых виднелись следы чернил и желтизна от табака. Да, она много курила, каким-то непостижимым образом выдыхая через ноздри слоистые голубоватые дымные кольца. На руках женщина носила массивные серебряные кольца и браслеты, которые начинали тревожно позвякивать, когда она доставала папиросу, вставляла ее в деревянный мундштук… Она была тонка, невелика ростом и одета так небрежно, как одеваются женщины либо с недостатком средств, либо те, которые думают, что внешность не имеет никакого значения, а гораздо важнее совсем иное…

Эта женщина думала именно так. К тому же она и в самом

деле была бедна.

Прошлой осенью рыцарь видел ее особенно часто. Тогда она приходила тоже поздним-поздним вечером, когда набережные пустели, и вот так же перевешивалась через перила Карлова моста. И непонятно было, хочет ли она рассмотреть что-то внизу или набирается решимости кинуться с моста.

Тогда… тогда, ровно год назад, она пыталась рассмотреть, как выглядит вода, в которую ей так хочется броситься. Но было страшно сделать это. И она шептала, молила, напряженно вглядываясь в шевеленье темных волн:

– Вода, поднимись, возьми меня!

Потом переставала шептать и глядела вниз еще напряженней: не услышала ли вода? Не поднимается ли?

Вода то ли не слышала, то ли не хотела отзываться. Тогда женщина начинала молить снова и снова, громче и громче, однако Влтава не отвечала, медленно струила дальше свои темные, закованные в камень воды.

Может быть, Влтава не понимала чужого языка? Ведь эта женщина была не чешка, а русская.

А впрочем, что за разница, на каком языке зовут смерть как последнее спасение от любви? Да, эта женщина хотела умереть потому, что любила слишком сильно, потому, что сильно любили ее…

Странно, диковинно, невероятно! Такой любви надо радоваться, ведь правда?

Вся беда этой женщины заключалась в том, что она не умела радоваться любви. Она умела только страдать. И если жизнь доставляла ей слишком мало страданий (а между тем жизнь никогда не была к ней ласкова и добра, только и знала, что терзала ее да мучила!), она умела создавать себе страдания сама.

Именно сердечные страдания.

Без горя, без боли, без разорванного в клочки сердца жизнь ей была не мила. Без слез, без отчаяния она не умела и не хотела жить.

Тысячи обычных, нормальных людей сочли бы эту женщину, конечно, сумасшедшей. Никто же не стремится страдать по доброй воле!

Вообще-то ей еще с детства частенько говорили по тому или иному поводу:

– Да ведь никто так не делает!

На что она отвечала упрямо:

– А *я* – *кто*!

Так она и жила. И именно поэтому год назад она хотела умереть от любви к человеку по имени Константин Родзиевич.

Впрочем, сколько Марина себя помнила (а женщину звали Мариной), она всегда мечтала о смерти – не только в самые мучительные, но и в самые счастливые минуты жизни, а главное, когда что-то только начиналось в жизни… Наверное, потому, что очень боялась разочароваться в ней, перестать ее любить. И кто бы мог поверить, что в день, когда ей сравнялось семнадцать, она напишет такие стихи-молитву:

Христос и Бог! Я жажду чуда.
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда.
Вся жизнь как книга для меня.
Ты мудрый, ты не скажешь строго:
«Терпи, еще не кончен срок».
Ты сам мне подал – слишком много!
Я жажду сразу – всех дорог!
Всего хочу: с душой цыгана.
Идти под песни на разбой.
За всех страдать под звук органа.
И амазонкой мчаться в бой;
Гадать по звездам в черной башне.
Вести детей вперед, сквозь тень…
Чтоб был легендой – день вчерашний.
Чтоб был безумьем – каждый день!
Люблю и крест, и шелк, и краски.
Моя душа мгновений след…
Ты дал мне детство – лучше сказки.
И дай мне смерть – в семнадцать лет!

А ровно за год до этого Марина писала одному своему знакомому, которого звали Петр Юркевич, признаваясь, что ей страшно хочется умереть рано, пока еще нет устремления на покой, на отдых, «вниз». «Вниз» – означало «постареть». А потому, как только к ней явился извечный женский страх надвигающихся лет (вообще-то всегда кажется, что постареть может кто угодно, только не я, но, с другой стороны, старухами ведь не рождаются… значит, и они были когда-то молоды, какой кошмар!), она написала стихотворение-мечту:

Хорошо быть красивыми, быстрыми.
И, кострами дразня темноту.
Любоваться безумными искрами.
И как искры сгореть – на лету!

Марина, надо сказать, не очень-то любила выражать свои мысли, как все люди, – обычными словами. Строго говоря, она даже не умела этого делать. Потому что она была поэтессой. Нет, она не любила слово «поэтесса» – она была поэтом. Причем именно *была* – с тех пор, как родилась. Даже ее бедная, рано умершая матушка удивлялась тому, с какой любовью четырехлетняя дочка Муся складывает слова в рифмы – тогда, когда другие девочки просто и мило играют в куклы.

Какое счастье, что Мария Александровна Цветаева умерла прежде, чем успела понять, что ее Муся никогда не станет простой и милой, зато всю жизнь будет играть, играть, играть – своей жизнью и жизнями других людей, своим сердцем и сердцами других людей, мужчин или женщин – совершенно неважно! Она хотела владеть всеми, кто ей нравился… Нет, теми, кого она любила, потому что к людям она могла относиться только так: или люблю, или *не* люблю. Живой это оказывался человек, которого она могла знать, говорить с ним или осязать его, или выдуманный, – для Марины не имело ровно никакого значения. На самом-то деле она выдумывала себе вообще *всех* людей, которых встречала на своем пути.

Вы, идущие мимо меня.
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня.
Сколько жизни, растраченной даром.
И какой героический пыл.
На случайную тень и на шорох… —
И как сердце мне испепелил.
Этот даром истраченный порох!
О летящие в ночь поезда.
Уносящие сон на вокзале…
Впрочем, знаю я, что и тогда.
Не узнали бы вы – если б знали —
Почему мои речи резки.
В вечном дыме моей папиросы, —
Сколько темной и грозной тоски.
В голове моей светловолосой.

Довольно скоро она это поймет, но от себя ведь не убежишь, такой ее создали боги – такой она и останется навсегда!

Но вернемся назад, в детство, к выдуманным (а выдуманным ли?) любовям и безумным страстям.

Как-то раз отец Марины – а он, надо сказать, был человек ученый и образованный, много путешествовал, привозил из своих

странствий разные редкости для создаваемого им в Москве, на Волхонке, Музея изящных искусств и на дочерей своих, на Марину и ее сестру Анастасию, Асю, особенно много внимания не обращал, может быть, не столько оттого, что был очень занят, а оттого, что они были рождены его второй женой, а не первой, не той, которую он безумно любил всю жизнь и даже после ее смерти, заставляя мучиться и ревновать к прошлому несчастную Марию Александровну, – ну вот, как-то раз ее отец, Иван Владимирович Цветаев, вошел в комнату своей юной дочери и увидел… увидел, что в киоте[1] над ее письменным столом нет иконы, а находится там… портрет Наполеона! И другими портретами Наполеона оклеены все стены комнатки!

Всегда мягкий и добрый, очень снисходительный, Иван Владимирович потерял голову от злости.

– Сумасшедшая! Это святотатство! – закричал он и потянулся сорвать портрет со стены.

Что тут стало с Мариной! Ее зеленые глаза побелели от безумной ярости. Она схватилась за свечу и поднесла к своим коротким легким волосам. Она не сказала ни слова, но отец понял: подожжет себя – и ни на миг не задумается.

Он бросился вон из комнаты, до смерти испуганный. Испуганный даже не тем, что могло сейчас произойти, а тем, что прозрел душу своей дочери, понял страшную истину: ни жизнь, ни смерть – ничто для нее не значат, а значит – *всё!* – только любовь.

«Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь – любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это – любовь».

Странная она была девочка, что и говорить…

Одноклассницы-гимназистки втихомолку посмеивались над Мариной. Ей не шла гимназическая форма, а за школьной партой ей было тесно… Впрочем, она была хорошенькая, со своим нежным, «жемчужным», цветом лица, рассеянным взглядом близоруких глаз с золотистым отблеском сквозь прищуренные ресницы. Ее короткие русые волосы мягко ложились вокруг головы и округлых щек. Походка была легкая, неслышная. «Как у призрака! – презрительно говорили одноклассницы. – Она как-то внезапно, вдруг появится перед вами, скажет несколько слов и снова исчезнет!» Вообще-то этой легкости ее движений девочки просто завидовали. Так же, как завидовали и смелости: гимназию она посещала с перерывами: походит несколько дней, и опять ее нет. А потом смотришь, вот она снова сидит на самой последней парте (седьмой в ряду) и, склонив голову, читает книгу. Да, она неизменно читала или что-то писала на уроках, явно

безразличная к тому, что происходит в классе. Преподаватели давно махнули на нее рукой и даже замечаний не делали (из уважения к отцу), но они ведь не знали, да и никто, кроме сестры Аси, не знал, что Марина в это время готовит свою первую книгу стихов.

Наконец она собрала все стихотворения, которые ей больше всего нравились, назвала сборник «Вечерний альбом» и отнесла в типографию Мамонтова в доме номер пять по Леонтьевскому переулку. Она заказала напечатать пятьсот экземпляров и заплатила за них. Приблизительно через месяц, в конце октября 1910 года, сборник вышел в свет…

О том, что в названии был секретный смысл, знали только Марина, ее сестра Ася (она знала о Марине все) и еще один человек по имени Владимир Оттович Нилендер. Он был старше Марины на девять лет – филолог, ученик Ивана Владимировича Цветаева, поэт, страстный любитель античности. Он переводил «Фрагменты» Гераклита Эфесского – того самого, который сказал великие слова: «Нельзя вступить в тот же самый поток дважды…»

Так вот, Владимир Нилендер был в Марину влюблен и даже сделал ей предложение. Но ей было лишь семнадцать, и меньше всего на свете она хотела стать чьей-то женой, чьей-то матерью… вообще *чьей-то*… Она не принадлежать хотела, а владеть! Словом, Владимиру Нилендеру она отказала и написала об этом стихи (ведь все мало-мальски значительные и даже случайные события ее жизни были для нее лишь материалом для стихов):

Ты всё мне поведал – так рано!
Я всё разгадала – так поздно!
. .
Темнеет… Захлопнуты ставни.
На всем приближение ночи…
Люблю тебя, призрачно-давний.
Тебя одного – и навек!

Неправда, неправда! Марина его скоро забудет, не зря же и стихотворение называлось – «На прощание»… А в память об этой любви останется название книги: «Вечерний альбом» – ведь именно так назвали Марина и Ася темно-синий кожаный альбом, который они подарили Владимиру Оттовичу на Новый, 1910 год, записав туда свои беседы с ним…

Марина молила бога: «Дай не тень мне обнять, наконец!», и, конечно, понимала, что Нилендер и любовь к нему – такие же «тени», как и все ее прежние любови: к Наполеону, в девочке-родственнице Нине Иловайской, к мальчику Нино из романа

Генриха Манна «Богини»…Ах, если бы кто так любил ее, так же принимал всю, как Нино принимал герцогиню де Асси, не смущаясь никакими ее поступками, зная, что все, что она делает, нужно и должно для нее…

Любить Марину *так же* – значило дать ей полную свободу жить и чувствовать как ей хочется, поступать как заблагорассудится, считаться только с ней. Марина тогда еще не знала (а может быть, и знала, но даже от самой себя это скрывала), что станет таким тираном в чувствах, что даже Нерон покажется рядом с нею мальчиком из церковного хора, что сделается она такой эгоистичной собственницей, что и Скупой рыцарь будет выглядеть на ее фоне как щедрый благотворитель и альтруист!

Летом 1911 года ей покажется, что она нашла наконец такую любовь и такого человека.

Само собой разумеется (и такова природа человека), что все мы считаем хорошими прежде всего тех, кто к нам хорошо относится. Но поэты – *ох уж эти поэты!* – делят людей на добрых и злых, друзей и врагов совсем по другому принципу. Добрые, друзья – это те, кому нравятся их стихи. Ну а те, кто смеет их не любить, кому они, великие, не нравятся, – враги, конечно, и самые злодейские злодеи.

Максимилиана Волошина Марина стала считать своим другом тотчас, как только прочитала его имя под рецензией на «Вечерний альбом».

«Это очень юная и неопытная книга… Многие стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности. Если же прибавить, что ее автор владеет не только стихом, но и четкой внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять текущий миг, то это укажет, какую документальную важность представляет эта книга, принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передать наблюдение и чувство… „Невзрослый“ стих М. Цветаевой, иногда неуверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, недоступные стиху более взрослому… „Вечерний альбом“ – это прекрасная и непосредственная книга, исполненная истинно женским обаянием».

Насчет юности и неопытности, насчет невзрослого стиха Марина легко пропустила мимо ушей, вернее, мимо глаз (о, она с младенчества научилась пропускать *мимо* все, вообще все, что не

будет соответствовать ее собственному представлению о себе!), но запомнила слова об истинно женском обаянии. И внезапно ощутила его в себе. И принялась сверкать им налево и направо, тратить его на всех встречных-поперечных, даже на того одиннадцатилетнего мальчика по имени Осман, который вдруг влюбился в нее в Гурзуфе… влюбился именно так, как Марина мечтала, как Нино любил герцогиню де Асси…

Конечно, не Осман с его детской любовью был ей нужен. Просто она словно бы сети закидывала, словно паутину ткала по всем направлениям, стремясь уловить в эти сети, в эту паутину любви, как писал Лев Толстой, всех и каждого, а на самом-то деле – только одного-единственного человека.

Его она встретила в Коктебеле, куда приехала погостить у доброго друга Макса Волошина.

О, это пустынное, полудикое место на берегу Черного моря, между Судаком и Феодосией… Поросшие мелким кустарником яйлы (так по-татарски называются желтые глинистые холмы, которыми покрыта округа), невероятная лазурь заливов и заливчиков, приникших к Карадагу – прекрасному горному массиву, рожденному на свет вулканом, его застывшей в причудливых формах лавой… Днем над Карадагом стоит огромное щедрое солнце, дельфины танцуют неподалеку от берега, бурными лунными ночами волны захлестывают берег, а тихими, жаркими – море фосфоресцирует, и тихо, тихо шепчет прибой, перебирая агаты и халцедоны, которыми щедро усеяны берега и пляжи…

Волшебное место! Сказочное! Место для свершения чудес!

5 мая 1911 года здесь, в Коктебеле, произошло главное чудо жизни Марины.

1.
Есть такие голоса.
Что смолкаешь, им не вторя.
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза.
Цвета моря.
Вот он встал перед тобой:
Посмотри на лоб и брови.
И сравни его с собой!
То усталость голубой.
Ветхой крови.
Торжествует синева.
Каждой благородной веной.
Жест царевича и льва.

Повторяют кружева.
Белой пеной.
Вашего полка – драгун.
Декабристы и версальцы!
И не знаешь – так он юн —
Кисти, шпаги или струн.
Просят пальцы.

2.
Как водоросли Ваши члены.
Как ветви мальмэзонских ив…
Так Вы лежали в брызгах пены.
Рассеянно остановив.
На светло-золотистых дынях.
Аквамарин и хризопраз.
Сине-зеленых, серо-синих.
Всегда полузакрытых глаз.
Летели солнечные стрелы.
И волны – бешеные львы.
Так Вы лежали, слишком белый.
От нестерпимой синевы…
А за спиной была пустыня.
И где-то станция Джанкой…
И тихо золотилась дыня.
Под Вашей длинною рукой.
Так, драгоценный и спокойный.
Лежите, взглядом не даря.
Но взглянете – и вспыхнут войны.
И горы двинутся в моря.
И новые зажгутся луны.
И лягут радостные львы —
По наклоненью Вашей юной.
Великолепной головы.

В это нежное совершенство Марина влюбилась с первого взгляда. Сергей Эфрон был самым красивым мужчиной, которого она видела в жизни – наяву ли, во снах, на картинах! Нет, он был еще не мужчина, он был еще мальчик, прекрасный юноша, воплощенная мечта. В нем не было грубой мужской силы, которую ненавидела и которой боялась Марина. Хоть она и молила, чтобы судьба дала ей обнять не тень, на самом-то деле она любила в жизни только театр теней, созданный ее воображением и далекий от реальности. Сергей был героем-

любовником этого театра… впрочем, не героем (так показалось Марине, но тут она ошиблась) и не любовником (вот это вернее, это сначала обрадует ее, а потом станет причинять невероятную боль), а первым из череды тех печальных Пьеро, к которым ее будут бесконечно прибивать волны жизни, пока она не встретит Арлекина… того самого, из-за которого захочет умереть на берегах Влтавы…

Однако это когда-а еще будет! Пока что она на берегах Черного моря и видит красивейшее в мире существо. И не знает, что с ним делать, будто с хрупкой игрушкой: то ли спрятать руки за спину (а вдруг эта совершенная красота сломается, исчезнет?), то ли схватить, прижать к себе, защитить? Еще ничего не зная о Сергее, она уже понимала, что душа его страдает, что он нуждается в защите и любви – такой любви, какую может дать ему только Марина!

Ну что ж, она угадала – жизнь его семьи была полна трагедий. Мать, Елизавета Петровна Дурново, русская дворянка, вышла замуж за еврея Якова Константиновича Эфрона, который в молодости входил в партию «Народная Воля», но, на счастье, вскоре простился с революцией навеки. Однако ею, как дурной болезнью, заразилась Елизавета Петровна. Отсидела год в Бутырке, потеряла здоровье… Умер муж, погиб любимый сын Костик, и от горя Елизавета Петровна покончила с собой. Единственный брат Сергея Петр был болен туберкулезом. Впрочем, он и сам был болен… Зато с кем ему повезло, так это с сестрами – и Марина тоже подружилась с ними мгновенно.

Волшебное лето, которое началось любовью к Сергею, закончилось решением никогда больше не расставаться. Они вместе переехали в Москву, поселились в доме в Замоскворечье: жили сначала во грехе, а 27 января 1912 года обвенчались. Решение пожениться приняла Марина. Она же решила, что они всегда будут называть друг друга на «вы» (точно так же будет называть родителей и дочь Ариадна, Аля, которая родится в сентябре 1912 года, причем обращаться к матери она станет довольно странно: Марина, вы…)

За две недели до венчания Марина подписала в печать свой новый сборник стихов – «Волшебный фонарь», весь полный неистовой любви к Сергею.

Многие девушки, выйдя замуж, как бы не замечают этого, стремятся сохранить в себе прежнее, девичье. Другие радостно становятся женщинами, дамами, некоторые даже – бабами… Впрочем, некоторые мудрецы говорят, что люди не слишком-то меняются за жизнь: кем ты родился, тем и умрешь. Марина родилась ошалелой от любви, неистовой от собственного

воображения девушкой. Такой ей суждено было жизнь прожить, такой она и пошла на смерть. Однако она исполнила все ритуальные танцы, принятые в обществе: выйдя замуж, очень старалась от самой себя убежать!

Она даже стихи стала меньше писать. И радостно забыла о своей «гимназической внешности» (кстати, гимназию она так и не окончила) – об этом круглом и румяном детском своем лице, которое больше напоминало нелюбимую ею пушкинскую Ольгу, а не обожаемую Татьяну. Наконец-то Марина похудела, и если раньше она одевалась, не заботясь выбором фасона, то теперь проводила много времени у парикмахеров и портных. Она стала общительной, уверенной в себе и элегантной, она чуть ли не впервые в жизни не сомневалась в своей привлекательности. Правда, надолго ее не хватит, вскоре жизнь вернет былые сомнения…

Спустя месяц после венчания Сергей и Марина уехали в свадебное путешествие: Италия (Сицилия), Франция, Германия. Сергей остался путешествием недоволен, в письмах к сестрам сообщал, что он «в ужасе от Франции» и более мерзкой страны в жизни не видел: «Все в прошлом, и ничего в настоящем. Я говорю о первом впечатлении. В вагоне из десяти пар девять целовались. И это у них в центре всей жизни!»

Между прочим, *это* всю жизнь было в центре жизни его собственной жены, однако Сергей Эфрон так и не сможет ее понять. Изысканная игрушка безудержной Мариниой страсти в начале их брака, рассудочно-отстраненный – в конце, он никогда не сможет утолить им же разожженной плотской ее жажды. Он не был пылок, не был ненасытен – он был томен и в лучшем случае нежен. Марина любила его умом, сердцем, плотью, но плоть приходилось усмирять.

Это было трудно…
Мы с тобою – лишь два отголоска.
Ты затихнул, и я замолчу.
Мы когда-то с покорностью воска.
Отдались роковому лучу.
Это чувство сладчайшим недугом.
Наши души терзало и жгло.
Оттого тебя чувствовать другом.
Мне порою до слез тяжело.
Станет горечь улыбкою скоро.
И усталостью станет печаль.
Жаль не слова, поверь, и не взора, —
Только тайны утраченной жаль.

От тебя, Утомленный Анатом.
Я познала сладчайшее зло.
Оттого тебя чувствовать братом.
Мне порою до слез тяжело.

«Утомленным Анатомом» она называла Сергея за его страсть к тончайшему психоанализу – этим свойством обладают очень многие одинокие, обиженные жизнью люди. Но его проницательности не хватило на то, чтобы понять собственную жену… Только потом, с годами, он узнает ее до такой степени, что никаких тайн ни в одном ее порыве для него не останется. Он будет препарировать их с бесстрастием не просто анатома, а патологоанатома перед всяким, желающим о них знать! Однако в начале своей супружеской жизни Сергей Эфрон всерьез верил, что взял в жены этакую хлопотливую мамашу, ну, правда, молоденькую и хорошенькую, однако рожденную на свет лишь для того, чтобы носить на руках свое обворожительное великовозрастное дитя – мужа.

Что и говорить, Марина старательно лелеяла в нем это заблуждение.

Сначала она взяла фамилию Эфрон и даже подписывалась ею поначалу. Марина страстно желала раствориться в Сергее, одновременно прикрывая его своими крылышками… Вернее, крыльями («двумя пламенными крылами!»), весьма широкими – настолько, что их размахи задевали очень многих окружающих, близких и даже не очень близких людей.

Ее сестра Ася познакомилась с известным философом Василием Розановым. Марина узнала об этом и тоже вступила с ним в переписку (под благовидным предлогом – сообщить Розанову интересующие его сведения об Иване Владимировиче Цветаеве). Потом переписка стала более дружеской, более доверительной. Марина вообще всегда, всю жизнь была безудержно откровенна… Строго говоря, это свойство всех хороших поэтов, ведь за чужую душу берут только те стихи, в которых предельно обнажена твоя собственная душа, остальное обман и подделка. Так вот, она была такой *раздетой* до биения сердца во всем: в стихах, разговорах и письмах, – ну и Розанову она очень скоро стала исповедоваться о своей семейной жизни.

«Моему мужу 20 лет. Он необычно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне. Сережу я люблю бесконечно и навеки…

Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный,

глубокий юноша! Я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него поднимается температура. Он – мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я могу жить так, как живу, – совершенно свободная. Никто – почти никто! – из моих друзей не понимает моего выбора. Выбора! Господи, как будто я выбирала!»

Я с вызовом ношу его кольцо!
– Да, в Вечности – жена, не на бумаге. —
Его чрезмерно узкое лицо.
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз.
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились.
Две древних крови.
Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза – прекрасно-бесполезны! —
Под крыльями распахнутых бровей —
Две бездны.
В его лице я рыцарству верна.
– Всем вам, кто жил и умирал без страху!
Такие – в роковые времена —
Слагают стансы – и идут на плаху.

Она любила, обожала. Она идеализировала Сергея, наделяла его чертами, быть может, не существующими, и, хотя в стихах воспевала его благородную мужскую отвагу, он был для нее прежде всего мальчиком, которому легче прощать все… Например, прохладно-братское отношение к телу жены… Благородному герою дозволено все, даже если его глаза – прекрасно-бесполезны!

А спустя некоторое время сестринско-материнская заботливость Марины о Сергее просто-таки вышла из берегов. У Сергея все еще не было аттестата зрелости, а без него невозможно было поступить в университет и он рисковал быть призванным на военную службу. Директор гимназии, где он хотел сдать экзамены, бесконечно уважал Розанова. Марина с милой непосредственностью попросила Розанова прислать директору его книгу «Опавшие листья» («с милой надписью») и письмо с упоминанием о Сережиной болезни, «о его желании поступить в университет, вообще – расхвалите». Марина была убеждена, что после этого директор позаботится, чтобы Сергей выдержал экзамены, независимо от его знаний…

Больше Розанов Марине не писал – видимо, испугался.

Вообще она почему-то считала себя всегда вправе даже не просить, а требовать от других помощи. Да, от своего неосознанного эгоцентризма, конечно. Она на все имела право![2] Из-за этого некоторые люди воспринимали ее, мягко говоря, неоднозначно. Одна случайная знакомая отзывалась о Марине так:

– Очень красивая особа, с решительными, дерзкими до нахальства манерами… богатая и жадная, вообще, несмотря на стихи, – баба-кулак! Муж ее – красивый, несчастный мальчик Сережа – туберкулезный, чахоточный.

Человек многогранен, а другие видят в нас только то, что хотят видеть… Ну да, тени и свет в нас уживаются весьма причудливо!

Они жили… жили как все, со своими счастьями и несчастьями, со своими недоразумениями, непониманиями, обидами, которые в жизни прощались, но на бумаге, в часы тайных ночных бдений Марины наедине с пером, они превращались в страшные пророчества, которые сторицей вернутся когда-нибудь этой молодой, неопытной, глубоко чуждой друг другу паре.

Идите же! – Мой голос нем.
И тщетны все слова.
Я знаю, что ни перед кем.
Не буду я права.
Я знаю: в этой битве пасть.
Не мне, прелестный трус!
Но, милый юноша, за власть.
Я в мире не борюсь.
И не оспаривает Вас.
Высокородный стих.
Вы можете – из-за других —
Моих не видеть глаз.
Не слепнуть на моем огне.
Моих не чуять сил…
Какого демона во мне.
Ты в вечность упустил!
Но помните, что будет суд.
Разящий, как стрела.
Когда над головой блеснут.
Два пламенных крыла.

…В ночь под Новый, 1914 год в доме в Замоскворечье вдруг

вспыхнул пожар – загорелась сажа в трубе. Вместо того чтобы пировать и праздновать, заливали вспыхнувшую кухню, а потом убирали грязь. Прислуга, конечно, была в ужасе:

– Плохая примета! Быть беде!

Марина смеялась:

– Оставьте ваши костромские глупости!

Служанка, бывшая коренной москвичкой, обиделась:

– Дайте мне расчет! Уйду от вас! А вам, барыня, скажу: примета плохая! Как бы не помер кто в семье!

И мстительно покосилась на бледного Сергея, который только недавно вернулся из санатория, где лечил свои больные легкие.

Марина вспыхнула не хуже того пожара, выгнала служанку вон – сама выгнала, просто так уйти не дала, – однако призадумалась, хоть и считала себя неверующей. Да такой она и была и не скрывала этого. Например, в письме к Розанову, еще когда переписывалась с ним, признавалась этаким горделивым полушепотом:

«Слушайте, я хочу сказать Вам одну вещь, для Вас, наверное, ужасную: я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни.

Отсюда – безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы – молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить…

Может быть, Вы меня из-за этого оттолкнете. Но ведь я не виновата. Если Бог есть – Он ведь создал меня такой! И если есть загробная жизнь, я в ней, конечно, буду счастливой.

Наказание – за что? Я ничего не делаю нарочно».

Ладно, бог богом – но всякие там черти – лешие – домовые – черные кошки… Мы все рождаемся с ощущением некоего суеверного страха в душе. Хотела Марина или нет, а о пророчестве сердитой служанки она теперь не могла перестать думать. Но поскольку, субъективно считая центром своей вселенной Сергея и Алю, она все же – независимо от себя, объективно! – по-прежнему была величайшей эгоцентристкой и все солнца, все планеты в мире вращались только вокруг нее, она снова задумалась о смерти. Причем не долгожданной, а – внезапной и даже нежеланной из-за своей внезапности и преждевременности. Все люди умирают…

Уж сколько их упало в эту бездну.
Разверзтую вдали!
Неужели и со мной это когда-нибудь произойдет?!
Настанет день, когда и я исчезну.

С поверхности земли.
Неужели такое возможно? Неужели?!
Застынет все, что пело и боролось.
Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, и нежный голос.
И золото волос.
И будет жизнь с ее насущным хлебом.
С забывчивостью дня.
И будет все – как будто бы под небом.
И не было меня.
Изменчивой, как дети, в каждой мине.
И так недолго злой.
Любившей час, когда дрова в камине.
Становятся золой.
Виолончель, и кавалькады в чаще.
И колокол в селе… —
Меня, такой живой и настоящей.
На ласковой земле!
К вам всем – что мне, ни в чем не знавшей меры.
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованьем веры.
И с просьбой о любви.
И день и ночь, и письменно и устно:
За правду *да* и *нет*.
За то, что мне так часто – слишком грустно.
И только двадцать лет.
За то, что мне прямая неизбежность —
Прощение обид.
За всю мою безудержную нежность.
И слишком гордый вид.
За быстроту стремительных событий.
За правду, за игру… – Послушайте! —
Еще меня любите.
За то, что я умру.

Смерть, впрочем, ждала не ее, а другого человека. Однако она очень близко затронула Марину.

Ее любовь и любовь к ней Сергея была подвергнута первому и очень серьезному испытанию. Как ни странно, не безденежьем, не бытом, не трудностями рождения и воспитания первого ребенка – эти все трудности существовали и всегда будут существовать в их жизни, всегда будут их испытывать, еще и жесточе, чем других, – любовь была впервые испытана на прочность появлением между

ними двумя – третьего.

О, о, о… Сколько таких *третьих* еще встанет между ними за те более чем тридцать лет, которые они проживут вместе… Однако небеса для начала подшутили весьма изощренно: первым в этой череде суждено было стать родному брату Сергея, Петру Эфрону. Он-то и упадет *в эту бездну, разверзтую вдали*, но заберет с собой немалую часть сердца Марины.

…Он, со своими тонкими чертами большеглазого лица, темными, словно бы всегда полузакрытыми веками, высоким лбом и впалыми щеками, очень худой, был и похож на Сергея, и не похож. Может быть, не столь ослепительно красивый, но еще более романтический и нежный. Беспомощный! Еще сильнее нуждающийся в защите!

Петр Эфрон, как выражались в старину, находился в последнем градусе чахотки. По восприятию Марины – стоял на грани между жизнью и смертью…

Он стал для нее нежным мальчиком, милым мальчиком, любимым мальчиком… Настолько тронувшим ее, что она поцеловала его – брата своего мужа – отнюдь не безгрешным сестринским поцелуем.

Ну да, все в мире принадлежало ей! И Петр тоже.

И на него, ошеломленного этой внезапной вспышкой любви, а значит – жизни, такой горячей, такой ускользающей от него, может быть, даже ненужной ему, на первого обрушилось то, чем Марина потом станет засыпать всех своих мужчин: лавина ошеломляющих писем, любовных признаний, призванных внушить человеку, что он – единственный в жизни этой женщины. В те минуты, когда Марина писала свои письма, она не просто сама верила в то, что писала, – это истинно так и было.

> «Откуда эта нежность – не знаю, но знаю – куда: в вечность!
>
> Слушайте, моя любовь легка.
>
> Вам не будет ни больно, ни скучно.
>
> Я вся целиком во всем, что люблю.
>
> Люблю одной любовью – всей собой – и березку, и вечер, и музыку, и Сережу, и Вас.
>
> Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлебывающемуся: „ах!“
>
> Вы для меня прелестный мальчик, о котором – сколько бы мы ни говорили – я все-таки ничего не знаю, кроме того, что я его люблю.
>
> Вы первый, кого я поцеловала после Сережи. Бывали трогательные минуты дружбы, сочувствия, отъезда, когда

поцелуй казался *необходимым*. Но что-то говорило: „нет!“

Вас я поцеловала, потому что не могла иначе.

Все говорило: „да!“

Мальчик мой ненаглядный!

Никогда никуда не уйду от Вас.

Началось с минуты очарования (август или начало сентября 1913 г.), продолжается бесконечностью любви…»

Однако Марина все в том же своем безудержном эгоцентризме, который граничил с эгоизмом (а впрочем, почему – граничил? Был именно эгоизмом – самой высокой, золотой пробы!), отчего-то была уверена, что всякое проявление ее души не просто дорого человеку, живущему рядом с ней, но и восхищает его. Она наивно надеялась, что любовь – нет, уже страсть! – к родному брату мужа не оскорбит Сергея, а умилит его. Однако он вовсе не был такой уж пушистой, мягкой игрушкой, какой она его себе представляла.

В эти дни, когда Марина была занята только своей новой любовью и полным отрешением от всех и вся, как-то незаметно для нее началась мировая война. И Сергей Эфрон сразу решил идти в армию – низшим чином в пехотный полк. Марина спохватилась, однако она никогда не в силах была себе хоть в чем-то отказать – разумеется, речь идет не о каких-то дамских радостях, а о жизни сердца, которое нуждалось в пламенной любви, как умирающий с голоду нуждается в пище, а потому призвала на помощь постороннего человека, написав любимой сестре мужа:

«Лиленька, приезжайте немедленно в Москву. Я люблю безумного погибающего человека и отойти от него *не могу* – он умрет. Сережа хочет идти добровольцем, уже подал прошение. Приезжайте. Это – безумное дело, нельзя терять ни минуты.

Я не спала четыре ночи и не знаю, как буду жить… Верю в Вашу спасительную силу и умоляю приехать.

Остальное при встрече.

P. S. Сережа страшно тверд, и это – страшней всего.

Люблю его по-прежнему».

Сергей не ставил никаких ультиматумов – он просто самоустранялся, не в силах справиться с Мариной. Да уж, упустил, упустил он в вечность этого демона, и крылья пламенные теперь безжалостно хлестали его не только по лицу,

но и по сердцу. По сути дела, в его самоустранении уже был ультиматум: знал ли Сергей или чувствовал, что для Марины, несмотря на все их вечное-сердечное непонимание, потеря его – невозможна? Да, это было именно так, и сакраментальные, всеми любящими людьми повторяемые слова: «Я не могу без тебя жить!» – имели для Марины смысл вечный и неизменный. Несмотря ни на что. Несмотря на ее вечно страдающее от любви к другому (третьему, четвертому… другой, третьей, четвертой… даже так!) сердце. Но эта всегдашняя готовность Сергея самоустраниться до полного исчезновения из ее жизни останется для Марины вечным ограничителем ее чувств, и однажды она придет на пражский Карлов мост и склонится над темной Влтавой, моля воды подняться и взять ее именно потому, что Сергей будет готов устраниться от нее навсегда…

Но не станем забегать вперед.

Неизвестно, что произошло бы в жизни Сергея и Марины дальше, останься Петр жив. Однако срок его был уж измерен, и 28 июля 1914 года случилось то, что и должно было случиться: он упал в бездну, разверзтую вдали…

Марина утешилась тем, что написала целый цикл стихов, помеченных двумя буквами: *П.Э.*

При жизни Вы его любили.
И в верности клялись навек.
Несите же венки из лилий.
На свежий снег.
Над горестным его ночлегом.
Помедлите на краткий срок.
Чтоб он под этим первым снегом.
Не слишком дрог.
Дыханием души и тела.
Согрейте ледяную кровь!
Но, если в Вас уже успела.
Остыть любовь —
К любовнику, – любите братца.
Ребенка с венчиком на лбу, —
Ему ведь не к кому прижаться.
В своем гробу.
Ах, он, кого Вы так любили.
И за кого пошли бы в ад.
Он в том, что он сейчас в могиле, —
Не виноват!
От шороха шагов и платья.
Дрожавший с головы до ног —

Как он открыл бы Вам объятья.
Когда бы мог!
О женщины! Ведь он для каждой.
Был весь – безумие и пыл!
Припомните, с какою жаждой.
Он вас любил!
Припомните, как каждый взгляд вы.
Ловили у его очей.
Припомните былые клятвы.
Во тьме ночей.
Так и не будьте вероломны.
У бедного его креста.
И каждая тихонько вспомни.
Его уста.
И, прежде чем отдаться бегу.
Саней с цыганским бубенцом.
Помедлите, к ночному снегу.
Припав лицом.
Пусть нежно опушит вам щеки.
Растает каплями у глаз…
Я, пишущая эти строки.
Одна из вас —
Неданной клятвы не нарушу —
Жизнь! – Карие глаза твои! —
Молитесь, женщины, за душу.
Самой Любви.

Сила (и слабость) Марины как женщины и неотразимость ее стихов в том, что она всегда была убеждена: *так* я не любила еще никого и никогда… И в самом деле не любила – на нее всякая страсть обрушивалась словно впервые, небывало, невероятно.

Но та страсть, что явилась на смену любви к Петру и взяла Марину в плен, стала именно такой – невероятной и небывалой. «Взяла в плен» – как раз те слова, которые здесь нужны, потому что речь пойдет о женщине.

А впрочем, не все ли равно было Марине, кого любить?!

«Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда – от всего. Я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда – в любовь», – однажды записала она в своем дневнике святую истину о своей неудержимой натуре.

Маринино сердце никогда не могло пустовать долго. После смерти Петра оно *вдовело* целых два месяца! До того дня, когда в

салоне поэтессы Натальи Крандиевской, жены Алексея Николаевича Толстого, Марина познакомилась с известной поэтессой Софьей Парнок.

Настоящая фамилия этой дамы была Парнох, и родилась она в Таганроге, в семье провизора и фельдшерицы. Мать ее рано умерла, и неразборчивые связи овдовевшего отца возбудили у Софьи отвращение не только к семейной жизни, но и к мужчинам. Впрочем, это не помешало ей в свое время пройти по проторенной неисчислимым количеством женщин дорожке и выйти-таки замуж за человека по имени Владимир Волькенштейн, литератора и теоретика драмы. Целых два года Софья Парнок была его женой, что, безусловно, было для нее поступком героическим, поскольку она не только не любила своего мужа (пустяки, дело житейское!), но и, по ее собственному признанию, никогда, к сожалению, не была влюблена в мужчину. Не потому, что не встретился достойный. Просто-напросто попадаются среди женщин особы, наделенные несчастьем, а может, счастьем (не испытав и не желая испытать, трудно судить) однополой любви. Софья Парнок принадлежала к их числу с рождения и до погребения.

Как многие нормальные женщины, стихи она начала писать от любви и для любимого существа, однако существом этим была некая Надежда Павловна Полякова, связь с которой длилась пять лет. И отныне только женщин станет она любить, только о любви к женщине станет писать. Но при этом она признавалась в письме к своему близкому другу: «Когда я оглядываюсь на мою жизнь, я испытываю неловкость, как при чтении бульварного романа… Я смотрю на мою жизнь с брезгливой гримасой, как человек с хорошим вкусом смотрит на чужую безвкусицу!» Похоже, собственные сексуальные пристрастия госпожу Парнок если не коробили, то все же смущали, ибо, как многажды было заявлено, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Однако неоспорима и другая расхожая истина: не может леопард изменить пятна свои, а потому Софья Парнок продолжала оставаться воинствующей лесбиянкой и уловлять в свои сети души и тела тех милых дам, которые не находили счастья для первой и удовлетворения для второго в объятиях своих мужей.

К числу таких милых дам и относилась Марина Цветаева. Правда, в отношении к ней страсть Софьи Парнок переплеталась с материнской нежностью (кстати, именно так относилась Марина ко всем своим мужчинам).

> «Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою» —
> Ах, одностишья стрелой Сафо пронзила меня!

Ночью задумалась я над курчавой головкою.
Нежностью матери страсть в бешеном сердце сменя.
– «Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою»,

– попытается объяснить Софья причины своей любви.

Если секс с женщинами (ну ладно, сделаем уступку временному лингвистическому антуражу и напишем поделикатнее – *близость* с женщинами!) для мадам Парнок был само собой разумеющимся, то с Мариной это произошло впервые. Но отнюдь не по принуждению!

Сердце сразу сказало: «Милая!»
Всё тебе наугад – простила я.
Ничего не знав – даже имени!
О, люби меня, о, люби меня!

Конечно, раньше она, наверное, и вообразить себе не могла, что когда-нибудь отправится в постель с дамой. Хотя, если честно, «в Марине было что-то для нее самой природно-тяжелое. В ней не было настоящей женщины. В ней было что-то андрогинное», по выражению одного из ее знакомцев позднейших времен, Романа Гуля. Впрочем, может статься, это *андрогинное* появилось в ней под влиянием именно встречи с ее первой любовницей, а то и атмосфера подействовала – атмосфера вседозволенности и распущенности в любовных отношениях, которая воцарилась в то время в России. Анна Ахматова, Ольга Судейкина, Зинаида Гиппиус и многие другие поэтессы, писательницы, художницы, актрисы, музыкантши (о мужчинах я уж не говорю: гомосексуализм в начале XX столетия был так же моден, как хризантема в петлице мужского пиджака, и английское общество, сурово осудившее Оскара Уайльда, считалось сборищем ретроградов и дикарей) отдали дань лесбийской любви – или практически, или теоретически. На Марину, с ее желанием непременно отпить из всякого запретного бокала и изведать неизвестное каким угодно путем, сексуальное удовлетворение, испытанное столь необычным образом (*наслаждение* – именно это слово обожают употреблять стихотворцы-стихотворки и романисты-романистки!), произвело сильнейшее впечатление, неодолимо повлекло ее к искусительнице:

Не женщина и не мальчик.
Но что-то сильнее меня!

– и немедленно вызвало к жизни цикл стихов «Подруга».

Под лаской плюшевого пледа.
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа? —
Кто побежден?
Всё передумываю снова.
Всем перемучиваюсь вновь.
В том, для чего не знаю слова.
Была ль любовь?
Кто был охотник? – Кто – добыча?
Всё дьявольски наоборот!
Что понял, длительно мурлыча.
Сибирский кот?
В том поединке своеволий.
Кто, в чьей руке был только мяч?
Чье сердце – Ваше ли, мое ли.
Летело вскачь?
И все-таки – что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?

Да, эти блистательные стихи явились на свет из тьмы того, для чего Марина и в самом деле не знала слова, потому что все было дьявольски наоборот! Однако в этом новом для нее любовном мире она находила и новую для себя горькую усладу в прежде неведомом ей чувстве – мести Сергею. Связь с Софьей Парнок для Марины стала не данью моде, не помрачением ума – она хотела наконец получить утоление жажды плоти, которого не давал, ну никак не давал тот, кто обязан, должен был дать его хотя бы по своим *супружеским обязанностям,* – молодой, прекрасный, любимый муж.

Ах так? Ты меня этого лишаешь? Ну, значит, я возьму это счастье сама – из других рук и других губ!

Я Вас люблю! – Как грозовая туча.
Над Вами – грех!
За то, что Вы язвительны и жгучи.
И лучше всех.
За то, что мы, что наши жизни – разны.
Во тьме дорог.

За Ваши вдохновенные соблазны.
И темный рок.
За то, что Вам, мой демон круглолобый.
Скажу: прости!
За то, что Вас – хоть разорвись над гробом! —
Уж не спасти!
За эту дрожь, за то, что неужели.
Мне снится сон?
За эту ироническую прелесть.
Что Вы – не он…

Сей «иронической прелестью» Марина наслаждалась довольно долго – весну и лето 1915 года подруги жили вместе, не расставаясь ни днем, ни ночью. Сестра Ася и дочь Марины Аля сопровождали их на Украину, где они провели часть лета в имении, принадлежащем друзьям Парнок.

Марина еще недавно писала в своих дневниках: «Пол в жизни людей – катастрофа. Во мне он начался очень рано, не полом пришел – облаком. И вот постепенно, на протяжении лет, облако рассеялось: пол распылился. Гроза не состоялась, пол просто миновал. (Пронесло!) Облаком пришел и прошел».

О нет, не прошел! Софья – пусть странно, своебычно и запретно – воскресила в теле Марины жажду совмещать, непременно совмещать возвышенное и земное. Это останется с ней надолго, очень надолго, пока в 1923 году, в Чехии, Константин Родзиевич не выпьет из нее все ее плотские соки, причем Марина будет убеждена, что он ее этими соками именно что напитал и наполнил.

Но пока на дворе не 1923-й, а 1915 год, и не Чехия, а Украина.

Оттуда Марина написала сестре мужа, Лиле Эфрон, такое письмо:

«Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда я от него не уйду. Пишу ему то каждый, то – через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце – вечная тяжесть. С нею засыпаю, с нею просыпаюсь».

Сергей в это время был на фронте. Поняв – не без труда, и такая несообразительность, ей-богу, вполне объяснима! – что у его жены появилась *другая женщина* (что за комиссия, Создатель!!!), он был, конечно, потрясен, старался не встречаться с Мариной и ни в коем случае не видеть *соперницу*: видимо, боялся не справиться с собой. А может, стыдился, что, наоборот,

справится очень легко, Бог его разберет, этого Утомленного Анатома… В конце концов Сергей ушел братом милосердия в действующую армию на фронт Первой мировой войны, чтобы не видеть, сколь упоена Марина новым для себя чувством.

Однако она и впрямь – при всем том, что ни на миг не расставалась с Софьей, что они раскуривали одну папиросу на двоих и прилюдно обнимались, – не могла и помыслить о том, чтобы разойтись с Сергеем. И мучений ей от того, что она рвется между мужем и любовницей, в самом деле хватало!

«Соня меня очень любит, и я ее люблю – и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Разорванность от дней, которые надо делить, сердце все совмещает. Веселья – простого – у меня, кажется, не будет никогда, и вообще это не мое свойство. И радости у меня до глубины – нет. Не могу делать больно и не могу не делать…» – писала она в письме-объяснении.

Два солнца стынут – о господи, пощади! —
Одно – на небе, другое – в моей груди.
Как эти солнца, – прощу ли себе сама? —
Как эти солнца сводили меня с ума!
И оба стынут – не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.

Отношения Марины с Парнок были очень даже непростыми. Старшая подруга (а Софья была не только на семь лет старше Марины, но вообще во всем взрослее) оказалась не меньшим тираном, чем младшая. «Она отталкивала меня, окаменевала, ногами меня топтала, но – любила», – писала Марина в дневнике. Следовало ожидать, что когда отношения эти разорвутся (если вообще разорвутся), то именно по ее возмущенной инициативе. Однако все произошло по-другому.

Как-то раз Марина вернулась с дружеской литературной вечеринки, куда не пошла Софья, сославшись на нездоровье, и, открыв дверь в квартиру подруги, попала в классическую в своей тривиальности житейскую ситуацию: на постели, которую делила с Софьей она, теперь сидела *другая женщина* (опять эти слова, но никуда от них не деться!) – какая-то толстая, черная, показавшаяся Марине отвратительной и вызвавшая такой приступ брезгливости, что она бежала из дома Парнок почти в панике, зная, что больше не вернется туда никогда.

Сегодня часу в восьмом.
Стремглав по Большой Лубянке.

Как пуля, как снежный ком.
Куда-то промчались санки.
Уже прозвеневший смех…
Я так и застыла взглядом:
Волос рыжеватый мех.
И кто-то высокий – рядом!
Вы были уже с другой.
С ней путь открывали санный.
С желанной и дорогой, —
Сильнее, чем я, – желанной.
– Oh, je n'en puis, j'touffe![3] —
Вы крикнули во весь голос.
Размашисто запахнув.
На ней меховую полость.
Мир – весел, и вечер лих!
Из муфты летят покупки…
Так мчались Вы в снежный вихрь.
Взор к взору и шубка к шубке.
И был жесточайший бунт.
И снег осыпался бело.
Я около двух секунд —
Не более – вслед глядела.
И гладила длинный ворс.
На шубке своей без гнева.
Ваш маленький Кай замерз.
О Снежная королева!

Эту обиду, этот грубый разрыв – Марина характеризовала его как «первую катастрофу» в своей жизни – она не простила до конца дней своих. Однако как странно… Буквально за несколько дней до смерти Марина вдруг увидела во сне Софью Парнок, которая давно уж умерла.

Софья была не одна, а с *той* женщиной. Они вместе и Марина ехали в поезде, в одном вагоне. Даже во сне Марина была уязвлена этой встречей. Ей снилось, она перешла от Софьи и той, другой, в какой-то плохонький, обшарпанный вагон и больше к ним не возвращалась.

Софья умерла своей смертью. Марина покончит с собой…

Что и говорить, покойники никогда к добру не снятся, даже дорогие!

Так закончился этот безумный и эпатажный роман двух поэтесс. И Марина немедленно, словно заглаживая свою вину перед Сергеем, перед мужчиной, которому она изменила с

женщиной, бросилась… О нет, не письма ему, молящие о прощении, строчить! И не к нему поехала. И не сделалась самой истовой прихожанкой ближайшей церкви, не отбивала лба перед иконами, грех искупая.

Она бросилась сразу в два новых романа! На сей раз эта эквилибристика чувств (выражение самой Марины) осуществлялась ею одним махом с двумя мужчинами. Правда, один роман был некоторым образом платонический – на деле, хотя и пылкий – сердечно. Второй воплощался как духовно, так и физически.

Любить двоих одновременно для нее вовсе не было сложно. Это еще на подступах к осознанию собственной невероятной сердечной полигамии, еще в пору влюбленности в двух братьев Эфрон сразу она чуточку – о, самую чуточку! – робела перед собственным раздвоением. Однако связь с Софьей Парнок настолько закалила ее сердце… Нет, не то слово, не закалила, сердце на всю жизнь останется самым уязвимым на свете, кровоточащим и ранимым, обнаженным, «ободранным», как однажды скажет о себе сама Марина… Связь с Софьей сделала ее сердце поистине эластичным и безразмерным. Теперь сердце женщины и поэтессы (ах да – поэта, не будем забывать, она же не любила слово «поэтесса»!) Марины Цветаевой (она давно забыла причуду подписывать *свои* стихи *чужой* фамилией!) что-то вроде кусочка знаменитой шагреневой кожи. Теперь оно могло любить одновременно стольких людей, сколько ему было нужно, сколько требовалось для непрерывной работы этой ненасытной печи по имени Творческий Процесс.

Жутко звучит? Избыточно физиологично? Однако забежим несколько (на десяток лет) вперед и призовем на помощь самого точного, самого беспощадного и проницательного эксперта души и сердца Марины, какого она в своей жизни имела, человека, который знал ее лучше других, – все того же Утомленного Анатома, ее собственного мужа.

«Марина – человек страстей, – напишет он Максу Волошину, который отлично знал эту пару и понимал ее беды и проблемы как никто другой. – Отдаваться с головой своему урагану – для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предается ураганному же отчаянию…

И все это – при зорком, холодном (пожалуй, даже вольтеровско-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня

остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая – все обращается в пламень. Дрова похуже – скорее сгорают, получше – дольше…»

Это так холодно и жестоко. Но так безукоризненно точно! Диагноз или приговор? Часто – одно и то же. Вот как в данном случае.

К этому письму мы еще вернемся.

Ну а теперь, когда нам известен диагноз смертельной болезни Марины Цветаевой – art vulgaris, искусство обыкновенное, – вернемся в 1915 год, когда она любила сразу двоих… Нет, троих – ведь Сергей тоже оставался любимым ею!

А те двое других – кто они?

Один из них – поэт Осип Мандельштам, которого она помнила еще по Коктебелю, с которым встречалась потом раз или два, бродя с ним по Москве, и украдкой, как бы мимоходом, меж чтением стихов, предавалась любви, больше отдавая дань традиции. Ну, так нужно, чтобы мужчина и женщина отправлялись вместе в постель, даже если им не терпится поскорей оторваться друг от друга и начать читать друг другу рожденные их духовной (более духовной, чем физической!) близостью стихи:

Откуда такая нежность?
Не первые – эти кудри.
Разглаживаю, и губы.
Знавала – темней твоих.
Всходили и гасли звезды.
(Откуда такая нежность?),
Всходили и гасли очи.
У самых моих очей.
Еще не такие песни.
Я слушала ночью темной.
(Откуда такая нежность?)
На самой груди певца.
Откуда такая нежность?
И что с нею делать, отрок.
Лукавый, певец захожий.
С ресницами – нет длинней?

Однако рассталась эта пара гениев после кратковременной встречи не без облегчения:

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас – через сотни.
Разъединяющих верст.

И если Марина позднее испытывала неприязнь к Надежде Мандельштам, жене Осипа Эмильевича, то лишь потому, что была величайшей, как уже говорилось, собственницей из всех живущих на свете.

Второй одновременный роман – с Тихоном Чурилиным, тридцатилетним поэтом из тамбовской Лебедяни. Сестра Марины Анастасия так описывала встречу с ним:

«…Черноволосый и не смуглый, нет – сожженный. Его зеленоватые, в кольце темных воспаленных век глаза казались черны, как ночь (а были зелено-серые). Его рот улыбался и, прерывая улыбку, говорил из сердца лившиеся слова, будто он знал и Марину, и меня целую уж жизнь, и голос его был глух… И не встав, без даже и тени позы, а как-то согнувшись в ком, в уголку дивана, точно окунув себя в стих, как в темную глубину пруда, он начал сразу оторвавшимся голосом, глухим, как ночной лес… Он брал нас за руки, глядел в глаза близко, непередаваемым взглядом, от него веяло смертью сумасшедшего дома, он все понимал… рассказывал колдовскими рассказами о своем детстве, отце-трактирщике, городе Лебедяни… и я писала в дневник: „Был Тихон Чурилин, и мы не знали, что есть Тихон Чурилин, до марта 1916 года“».

Он тоже обладал шагреневым сердцем поэта и был влюблен сразу в обеих сестер. Но Ася всегда находилась в тени Марины…

Встреча с Мариной сразила Тихона и больно его ранила. Она это и сама понимала:

Не сегодня завтра растает снег.
Ты лежишь один под огромной шубой.
Пожалеть тебя, у тебя навек.
Пересохли губы…
А глаза, глаза на лице твоем —
Два обугленных прошлолетних круга!
Видно, отроком в невеселый дом.
Завела подруга…

Тихон посвятил недолгой «подруге» свои прозаические произведения, в которых воспел ее: «Из детства далечайшего», где рассказывается о «сладких страданиях» любви, которая как бы

приуготовила к смерти впервые полюбившего мальчика, и фантастическую повесть «Конец Кикапу», где отзывается о ней так: «лжемать, лжедева, лжедитя», «морская» «жжженщщина жжосткая», что «лик свой неизменнорозовый держит открыто»…

Однако Тихон был Мариной отвергнут после одной или двух встреч: не нужен ей был равный, взрослый, только притворяющийся ребенком, жаждущий от Марины только тела, тела, ни капли души не желающий! Сама она не знала, чего хотела, ей-богу! То ей мало плоти, то переизбыток… Беда в том, что этого мужчину она не могла любить с тем непременным присутствием материнского начала в страсти, которого так жаждала, без которого не могла обходиться. Между прочим, именно этого не перенес в ней и Осип Мандельштам. Не зря же она называла его гордецом, подчеркивала его дерзость и заносчивость:

Ты запрокидываешь голову.
Затем, что ты – гордец и враль.
Какого спутника веселого.
Привел мне нынешний февраль!..
Мальчишескую боль высвистывай.
И сердце зажимай в горсти…
Мой хладнокровный, мой неистовый.
Вольноотпущенник – прости!

А ведь кстати! Как же мы упустили! Сердце-то Марины рвалось в те годы не между тремя мужчинами, а между четырьмя! Четвертым был Александр Блок… которого она не видела никогда в жизни, с которым и словом не обмолвилась. Но любила! Ох как любила… Она сказала бы: «Я его любила так, как не любила никого». Она повторяла это каждому из своих любовников и возлюбленных (если любовник – это тот, с кем осуществляешь плотские желания, а возлюбленный – к кому рвешься сердцем):

– Я никого не любила так, как вас!

Она всех их называла на «вы» и не лгала никому.

Для Блока Марина сплела венок из великолепных стихов:

Имя твое – птица в руке.
Имя твое – льдинка на языке.
Одно-единственное движенье губ.
Имя твое – пять букв.[4]
Мячик, пойманный на лету.
Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд.
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт.
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок.
Звонко щелкающий курок.
Имя твое – ах, нельзя! —
Имя твое – поцелуй в глаза.
В нежную стужу недвижных век.
Имя твое – поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток.
С именем твоим – сон глубок.

А с Мандельштамом было покончено. Все, что раньше восхищало в нем, даже манера закидывать голову, теперь казалось смешным.

Между тем в Москву вернулся Сергей. И убедился, что становится чужим человеком в собственной семье. Он писал сестре:

«Нашел Алю похудевшей и какой-то растерянной. Всякое мое начинание по отношению к Але встречает страшное противодействие. У меня опускаются руки. Что делать, когда каждая черта Мариниого воспитания мне не по душе, а у Марины такое же отношение к моему. Я перестаю чувствовать Алю – своей».

Он умолчал о том, что и жену своей перестал чувствовать, несмотря на то, что они вели бесконечные разговоры, делили ложе и даже умудрились между чтением стихов и выяснением отношений зачать ребенка. Марина была полна своей очередной любовью – по имени Никодим Плуцер-Сарна.

Боже мой, как далека была она теперь от мужа! Он еще не мог избавиться от тягостных воспоминаний о школе прапорщиков в Петергофе: «В одной комнате помещаются более ста человек, – все это галдит, поет, ругается, играет на балалайках и пр. и пр.». А Марина…

А у Марины…

И взглянул, как в первые раза.
Не глядят.
Черные глаза глотнули взгляд.
Вскинула ресницы и стою.
– Что, – светла?
Не скажу, что выпита дотла.
Всё до капли поглотил зрачок.

И стою.
И течет твоя душа в мою.
Другая жизнь!

Она так любила Никодима, что называла его *побудителем* своих стихов. Почти соавтором. Что и говорить, человек он был совершенно не похожий ни на кого из ее прежних любовников и возлюбленных!

Анастасия Цветаева описала его прелестно и необыкновенно точно: «Помню лицо Никодима – узкое, смуглое, его черные волосы и черные глаза… Он был среднего роста, привычно-элегантно одет (элегантность эта не имела в себе ни одной ноты лишнего), и был он молчалив, и глаза его темны… и была некая внезапность движений – брал ли портсигар или вставал вдруг идти, и была в нем сдержанность гордеца, и было в нем одиночество, и был некий накал затаившегося ожидания, и что-то было тигриное во всем этом – и если это иначе назвать – была ненасытность к романтике, хватка коллекционера и путешественника, и был он, на наш вкус, романтичен весь до мозга костей – воплощение мужественности того, что мы – в совершенно не общем смысле – звали авантюризмом, то есть свободой, жаждой и ненасытностью…» А на взгляд Марины Цветаевой:

Запах, запах.
Твоей сигары!
Смуглой сигары.
Запах!
Перстни, перья.
Глаза, панамы…
Синяя ночь.
Монако.
Запах странный.
Немножко затхлый:
В красном тумане —
Запад.
Столб фонарный.
И рокот Темзы.
Чем же еще.
Чем же?
Ах, Веной.
Духами, сеном.
Открытой сценой.
Изменой!

Далеко не мальчик, старше Марины, европейски образован, он был снова – романтический герой и сильный мужчина, не допускавший покровительственного к себе отношения. Но, как известно всем, каждая сильная женщина только и ждет того, с кем рядом она могла бы хоть немножко побыть слабой. И Марина, опьяневшая от запаха его сигар и его духов, от того переизбытка изысканности, которого она была напрочь в своей простенькой бытовой жизни лишена, при скудости тех средств, на которые они с Сергеем жили, – Марина впала словно бы в некое наркотическое опьянение от этого человека, который нежно и осторожно трогал ее сердце, а по сути – играл им, поигрывал, как с очередной экзотической игрушкой, привезенной им из какой-нибудь невероятной, загадочной страны… Из страны под названием Любовь.

На заре морозной.
Под шестой березой.
За углом у церкви.
Ждите, Дон-Жуан!
Но, увы, клянусь Вам.
Женихом и жизнью.
Что в моей отчизне.
Негде целовать!
Нет у нас фонтанов.
И замерз колодец.
А у богородиц —
Строгие глаза.
И чтобы не слышать.
Пустяков – красоткам.
Есть у нас презвонкий.
Колокольный звон.
Так вот и жила бы.
Да боюсь – состарюсь.
Да и Вам, красавец.
Край мой не к лицу.
Ах, в дохе медвежьей.
И узнать Вас трудно.
Если бы не губы Ваши.
Дон Жуан!

«Чтобы не слышать пустяков красоткам», у них был не только колокольный звон – у них была женская природа, которая

подводила дела сердечные в самые внезапные минуты жизни. Едва ли Марина успела сосредоточиться на своей беременности! Воистину: «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст…» Во всяком случае, она писала из родильного дома сестрам мужа подробнейшие письма-инструкции по ведению своего хозяйства, в котором, судя по всему, все шло абы как, и Марина надеялась с помощью временных помощниц навести наконец подобие порядка в своем запущенном быту, с непосредственностью ребенка добавляя при этом: «Мое – теперь – убеждение: главное – это родиться, дальше все устроится». Ну да – с помощью добрых людей… Вообще, по сути своей она умела просить, даже требовать у людей не только чувств, но и всяческой материальной помощи. С той же непосредственностью она сообщала сестре Сергея Вере: «Я – нелегкий человек, и мое главное горе – брать что бы то ни было от кого бы то ни было». Ну нет, тут уж она кокетничала: это было не горе, это было – средство выживания души, сердца, тела, наконец…

Между тем в своем *вдруг* случившемся материнстве она лишилась встреч с Никодимом, которому, конечно, мало интересна стала вечно захлопотанная мамаша: как ни мало уделяла Марина внимания своим детям, все же две дочери занимали массу места в ее жизни. И человек, о котором она упоенно восклицала: «О, поэты! поэты! Единственные настоящие любовники женщин!», тихо исчез из ее жизни.

Приехал из школы прапорщиков Сергей, ждущий назначения на фронт.

С грустью убедился в очередной раз, что они с женой – параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Она и сама не раз высказывалась в том смысле, что «для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо что – дыхание, как не ритм души? Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом». Увы, «лежать рядом» с женой у Сергея просто не имелось времени. А значит, их души не согласованы, а значит, ей нет дела до его страшных предчувствий о судьбе России – он ведь беспрестанно общался с так называемыми нижними чинами, знал, каково у них настроение, какой страшной силы разлагательскую работу ведут в войсках большевики, и предвидел, что на недавно свершившейся Февральской революции дело не остановится, все это может кончиться истинной катастрофой для страны. Ну а ему меньше всего интересно, по кому на сей раз хмурятся ее брови, и набегает на глаза слеза, и кривятся в судорожной, не то мечтательной, не то мучительной улыбке губы, и кто вызвал у нее ту горечь, о которой он прочел на небрежно оброненном клочке

черновика:

Горечь! Горечь! Вечный привкус.
На губах твоих, о страсть!
Горечь! Горечь! Вечный искус —
Окончательнее пасть…
С хлебом ем, с водой глотаю.
Горечь-горе, горечь-грусть.
Есть одна трава такая.
На лугах твоих, о Русь!

С ощущением этой горечи на губах Сергей и ожидал назначения на фронт. Марина же исступленно писала стихи, исступленно жаждала новой любви, между этими двумя делами занималась детьми… А тем временем обрушилась на Россию ожидаемая Сергеем и пугавшая его катастрофа – Октябрьская революция.

Сергей участвовал в уличных боях в Москве, чудом спасся: удалось, переодевшись, пробраться из Александровского училища домой. Он был просто болен от ярости, от боли за Россию – болен Россией. И мечтал только о том, чтобы представилась возможность продолжать борьбу.

Марина была безумно счастлива, что он остался жив. Странность их параллельных, не пересекающихся путей в том и состояла, что они непременно должны были знать друг о друге – вот есть он (она), вот жив (жива), значит, и я существую. Они не могли жить друг без друга… но и друг с другом жить не могли. Марина это понимала, оттого и писала в своих тайных дневниках: «Личная моя жизнь, т. е. жизнь моя в жизни (т. е. в днях и местах) не удалась… Причин несколько. Главная, что я – я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных – прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке».

Она по-прежнему считала Сергея благороднейшим из людей, и его участие в октябрьских боях только подтвердило это, потому и писала слезами и кровью сердца:

«Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше…»

И одновременно:

Ну что же! Коли кинут жребий —

Будь, любовь!
В грозовом – безумном – небе —
Лед и кровь.
Жду тебя сегодня ночью.
После двух:
В час, когда во мне рокочут.
Кровь и дух.

Кого же она ждала той ночью? И дождалась ли?

…Москва, 31 декабря 17-го. Поздний вечер. В доброе старое время вечером 31 декабря провожали старый год и готовились к встрече нового. Теперь никто ничего не понимает, все всего боятся и одновременно чего-то ждут. Кто-то – волшебных изменений, которые вмиг, бескровно, сделают Россию великой европейской державой. Кто-то понимает, что, по выражению баснословного князя Игоря, нельзя обрести меда, не погнетши пчел, то есть что без кровушки великие дела не делаются, и ждет, и предчувствует собственную смерть. Кто-то вообще ждет, сам не зная чего – что господь пошлет. А одна женщина ждет встречи с человеком, в которого влюблена. Именно поэтому она спешит теперь из гостей домой, хотя ее уговаривали остаться. Ради него она пришла туда, а его там не оказалось. И больше ей невмоготу было оставаться в той компании: там собрались одни поэты, которые до бесконечности читают свои стихи и ругают стихи других, в том числе – и ее. Какая чушь! Они стихи пишут, она – живет ими, дышит.

Почему он не пришел? Может быть, она чего-то не поняла? Может быть, он ждет у нее дома? Ведь они обычно встречались именно там, в деревянном двухэтажном оштукатуренном доме в Борисоглебском переулке, между Арбатом и Поварской. Спальня и рабочая комната Марины находятся в жилой мансарде. К стене прибито чучело орла; все сплошь затянуто коврами, даже окно, так что и днем на столе должна гореть лампа. На тяжелом маленьком секретере множество старых книжек в истрепанных кожаных переплетах: Державин, Гёте, Лермонтов, Гюго, Мюссе…

Внизу две комнаты: первая большая, но нежилая – только на одной из голых стен висит вверх колесами старый велосипед с деревянной рамой. В соседней комнате, маленькой, тихо, как мышки, спят Маринины дочери, то есть младшая спит, а старшая – неведомо. Может быть, ловит чутким, ревнивым ухом разговоры, доносящиеся сверху…

Он: Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда

казалось, что у меня в руках барахтается птица.

Она: Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же. Женщина – одержимая. Женщина идет по пути вздоха (*глубоко дышит*). Вот так.

Он: А мужчина хочет – так! (*Выброшенная рука. Прыжок.*)

Она: Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово – «мужчина»! Насколько по-немецки лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo… Нет, у всех лучше…

Но дальше. Итак, женщина идет по пути вздоха… Женщина – это вздох. Мужчина – это жест. Вздох всегда раньше, во время прыжка не дышат. Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.

Он: А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина – действительно – не хочет?

Она: Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью. – И продолжает (*робко*): Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем, – мыслью?

Он(еще более робко): Это – вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.

Его звали Павел Антокольский – двадцать два года, поэт, актер маленького театра в Мансуровском переулке на Остоженке, ученик Вахтангова. Говоря по-диккенсовски, у них все было впереди – у них ничего не было впереди.

Кавалер де Гриэ! – Напрасно.
Вы мечтаете о прекрасной.
Самовластной, в себе не властной.
Сладострастной своей Manon.
Вереницею вольной, томной.
Мы выходим из ваших комнат.
Дольше вечера нас не помнят.
Покоритесь, – таков закон.
Мы приходим из ночи вьюжной.
Нам от вас ничего не нужно.
Кроме ужина – и жемчужин.
Да, быть может, еще – души!
Долг и честь, Кавалер, – условность.
Дай Вам Бог – целый полк любовниц!
Изъявляя при сем готовность…

Страстно любящая Вас – *М.*

…Павлик Антокольский, которого она называла кавалером де

Гриэ, обещал вместе встретить Новый год. Он придет, придет, их свидания так редки. Марина не раз сетовала:

– Я должна была бы пить вас из четвертной, а пью по каплям, от которых кашляю.

Он должен прийти!

Где он?

Марина ускорила шаги, нагнулась, прячась от ветра, и не заметила, как из подворотни вынырнула мужская фигура. Столкнулась лицом к лицу и только тогда заметила человека. В первую минуту подумала – он! Но нет… это какой-то оборванец с волчьими глазами, светящимися в темноте.

Один из уголовников, во множестве выпущенных революцией из московских тюрем!

Рванул за ремень желтую кожаную сумку вроде офицерской полевой, которую Марина носила через плечо: в этой не женской сумке умещались сотни две папирос и клеенчатая тетрадь со стихами.

Папиросы – ладно, хоть и жалко, но если отнимет тетрадь…

– Ради бога! – вскрикнула Марина, с силой выдергивая из немытой лапы сумку. – Нет, не троньте это! Вот, возьмите…

Она высыпала прямо на мостовую папиросы, сорвала с шеи и сунула грабителю старинный лорнет на цепочке (с детства близорукая, она не носила очки, ненавидела себя в них, но иногда позволяла себе посмотреть в лорнет на мелкий шрифт в книге или газете). Вещь была дорогая – единственная дорогая вещь у нее. Платье она носила из самой простой ткани, самого простого фасона, похожее на подрясник, перетянутый поясом, ботинки были мужские… Уголовник от изумления щедростью жертвы начал подбирать папиросы и, даже не заметив, что все пальцы Марины унизаны кольцами, не кинулся следом, когда она бросилась бежать, прижимая к себе сумку. Кольца были, правда, не золотые, а серебряные, а некоторые даже простые, железные. Одно из таких колец Марина недавно подарила Павлику:

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу – восторг – и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо.
Чтоб позабыл ты даже слово: нежность.
Чтоб голову свою, в шальных кудрях.
Как пенный кубок, возносил в пространство.
Чтоб обратило в огнь – и в пепел – и в прах.
Тебя твое железное спартанство.
Когда ж к твоим пророческим кудрям.
Сама Любовь приникнет красным углем.

Тогда молчи и прижимай к губам.
Железное кольцо на пальце смуглом.
Вот талисман тебе от красных губ.
Вот первое звено в твоей кольчуге, —
Чтоб в буре дней стоял один – как дуб.
Один как Бог – в своем железном круге!

Какое счастье, что грабитель не польстился на кольца! Хорошая примета! К добру, к удаче, к исполнению желаний! Наверное, Павлик уже у нее!

Однако в окнах было темно…
Новый год я встретила одна.
Я, богатая, была бедна.
Я, крылатая, была проклятой.
Где-то было много-много сжатых.
Рук – и много старого вина.
А крылатая была – проклятой!
А единая была – одна!
Как луна – одна в глазу окна.

Она так и не узнала, с какой именно Манон из целого полка любовниц шлялся в ту ночь ее кавалер де Гриэ. Однако простила ему эту одинокую ночь, потому что уже 6 января 1918 года явившийся с извинениями Павлик познакомил Марину с Юрием Завадским – человеком, которого она называла Солнцем, шевалье де Лозеном, Комедьянтом, к которому вспыхнула ослепительной любовью. Вспыхнула – и погасла, ибо такова судьба всякой вспышки. Но некоторое время и впрямь чудилось: солнца зажигала и звезды – своими стихами о нем.

Солнце – одно, а шагает по всем городам.
Солнце – мое. Я его никому не отдам.
Ни на час, ни на луч, ни на взгляд. – Никому. Никогда!
Пусть погибают в бессменной ночи города!
В руки возьму! – Чтоб не смело вертеться в кругу!
Пусть себе руки, и губы, и сердце сожгу!
В вечную ночь пропадет – погонюсь по следам…
Солнце мое! Я тебя никому не отдам!

Юрий Завадский тоже был актером театра Вахтангова и близким, очень близким другом Павлика. Коварный Антокольский, которому очень хорошо удавалось делать вид, будто он нежный такой черноволосый мальчик с большими глазками (такой мальчишески-невинный тип мужчин привлекал Марину сильнее всего именно потому, что ее отношение к ним по-прежнему было материнski любовное), на самом деле был очень тонким психологом и легко разгадал неистово-собственническую натуру Марины. И испугался, что его затянет этот водоворот страстей, изломает все его тонкие косточки. Сам

же Павлик предпочитал отношения легкие, даже легонькие, и в этой любовной связи именно он был – легкомысленная Манон, а Марина как раз изображала из себя пожизненно верного кавалера де Гриэ. Так вот, Павлик надеялся, что Марину отвлечет от него ослепительная, феерическая красота Юрия Завадского.

Еще совсем молодой, прекрасно-холодный, с загадочными карими глазами и вьющимися каштановыми волосами, щеголь, эгоист, «человек успеха», как называли его всю жизнь, он покорял всех. Обаяние его было невероятно. Он проснется знаменитым в 1922 году после роли Калафа в феерической вахтанговской «Турандот», которая станет легендой русского театра, а во время знакомства с Мариной в 1918 году играл в пьесе Метерлинка «Чудо святого Антония». Нагородил Вахтангов в том спектакле бог весть чего, на сцене царили механические уроды, с которыми вызывающе контрастировал святой Антоний: высокий, стройный, с глубоким голосом, благородно-свободный и мягкий в движениях, строгий, сосредоточенный, исполненный ясной святости и веры. В чудеса его невозможно было не поверить. В финале зал, замирая, испытывал даже некое подобие благоговения.

Ну что ж, Павлик с его расчетливым умом не просчитался. Марина не выдержала «искушения святым Антонием» – и завертелась в новом вихре чувств… Правда, какое-то время она воспринимала Юрия как некую непременную принадлежность Павлика, называла их в стихах двумя ангелами, двумя белыми братьями, очень боялась поссорить тем, что предпочла одному – другого, и в конце концов какое-то время грешила тем, что спала то попеременно с каждым, то с обоими разом (вот уж где в полную силу оправдалось ее автобиографическое признание о том, что ею владеет «страсть к еврейству»!). Впрочем, и эти нежные «братцы» грешили-таки «кровосмесительством», отдавая дань безумно модному в те годы содомскому греху:

Спят, не разнимая рук.
С братом – брат.
С другом – друг.
Вместе, на одной постели.
Вместе пили, вместе пели.
Я укутала их в плед.
Полюбила их навеки.
Я сквозь сомкнутые веки.
Странные читаю вести:
Радуга: двойная слава.
Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу.
Лучше буду.
Лучше буду —
Полымем гореть в аду!

Марина ничего в том дурного не видела (ее психофизика и в самом деле была андрогинной). Однако она самообольщалась: никого – ни ее, ни Павлика, ни какую-то другую женщину, ни какого-то мужчину – Юрий не любил так, как любил себя. Портрет единственного возлюбленного, которому он пожизненно был верен, Завадский всегда носил при себе – это было карманное зеркальце…

Вы столь забывчивы, сколь незабвенны.
– Ах, Вы похожи на улыбку Вашу!
– Сказать еще? – Златого утра краше!
Сказать еще? – Один во всей вселенной!
Самой Любви младой военнопленный.
Рукой Челлини ваянная чаша.
Друг, разрешите мне на лад старинный.
Сказать любовь, нежнейшую на свете.
Я Вас люблю. – В камине воет ветер.
Облокотясь – уставясь в жар каминный, —
Я Вас люблю. Моя любовь невинна.
Я говорю, как маленькие дети.
Друг! Все пройдет! Виски, в ладонях сжаты.
Жизнь разожмет! – Младой военнопленный.
Любовь отпустит вас, но – вдохновенный —
Всем пророкочет голос мой крылатый —
О том, что жили на земле когда-то.
Вы – столь забывчивый, сколь незабвенный!

Иногда влюбленные женщины – не простые, а поистине великие женщины! – на какое-то время бывают убеждены, будто родились они на свет лишь затем, чтобы сделать бессмертными, увековечив в собственном творчестве своих божественно прекрасных молодых возлюбленных. Иногда… на какое-то время… порою период этот длится довольно долго, и повелительницы муз успевают изрядно-таки «загрузить» ненаглядным образом окружающее пространство. Роман с Завадским стал причиной романа Марины с театром, для которого она написала несколько пьес (вообще в ту пору это было модно среди изысканных поэтов – писать пьесы, читать которые

любопытно, но которые, окажись они поставлены, казались бы невыносимы… вот и Блок этим грешил…), прежде всего – «Комедьянта».

Для работы Марина воспользовалась мемуарами графа Армана-Луи Бирона-Гонто, герцога Лозена – истинного героя, причем не только героя-любовника, но и мужественного человека, воина. Однако Марина, понятное дело, извлекла из его биографии только его многочисленные любовные победы. Понятно, что шевалье де Лозен – это был Завадский, ну а все те женщины, которые его исступленно любили (и королева Мария-Антуанетта, и маркиза де Помпадур, и маркиза д'Эспарбэс, и польская княгиня Изабелла Чарторийская, умирающая от чахотки и от любви к Лозену, и его последняя победа, уже накануне казни, Розанетта, дочь привратника в тюрьме), – все это была Марина, Марина, Марина…

Ваш нежный рот – сплошное целованье!
– И это все, и я совсем как нищий.
– Кто я теперь? Единая? – Нет, тыща!
– Завоеватель? – Нет, завоеванье!
Любовь ли это или любованье.
Пера причуда иль первопричина.
Томленье ли по ангельскому чину.
Иль чуточку притворства – по призванью?
Души печаль, очей очарованье.
Пера ли росчерк – ах, не все равно ли.
Как назовут сие уста, доколе.
Ваш нежный рот – сплошное целованье.

Марина никогда не могла противиться таланту красоты. А Завадский был не просто хорош собой – он обладал истинным талантом красоты, который завораживал Марину. И хоть, отрекаясь от этой любви, Марина потом презрительно выскажется, что красота, мол, всегда пуста, ибо природа не может равно выложиться для создания совершенной оболочки и совершенного внутреннего содержания (мягко говоря, вопрос спорный!), все же Комедьянт вызвал к жизни не только чудесные стихи, но и тончайшие и интереснейшие психологические наблюдения, сложившиеся в некое эссе о Лозене.

А письма какие она ему писала!

«Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, вхожу наконец к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас.

Можно оспаривать право человека на хлеб (дед не работал, значит – внук не ешь!) – нельзя оспаривать право человека на воздух. Мой воздух с людьми – восторг. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко, Вы раздражены. Вы „измучены“, кто-то звонит, Вы лениво подходите: „Ах, это Вы?“ И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, – да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна (не для меня – без Вас, для меня – с собой), одних снов за три ночи – тысяча и один, а я их и днем вижу!

Вы говорите: „Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю“. Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе. То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) – я уже не существую. Дом – сплошной „нелад“, жара – каждое лето, а большевики только начинаются!

Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».

Вот этого ей дождаться не удалось.

Словом, она обнимала очередную тень…

Итогом страсти к Завадскому стало ироническое стихотворение, в котором Марина словно бы попыталась откреститься от своего кратковременного безумия. Прощальная такая шуточка:

Не любовь, а лихорадка!
Легкий бой лукав и лжив.
Нынче тошно, завтра сладко.
Нынче помер, завтра жив.
Бой кипит. Смешно обоим:
Как умен – и как умна!
Героиней и героем.
Я равно обольщена.
Жезл пастуший – или шпага?
Зритель, бой – или гавот?
Шаг вперед – назад три шага.
Шаг назад – и три вперед.
Рот как мед, в очах – доверье, —
Но уже взлетает бровь.
Не любовь, а лицемерье.
Лицедейство – не любовь!

И итогом этих (в скобках —
Несодеянных!) – грехов —
Будет легонькая стопка.
Восхитительных стихов.

Насчет несодеянных грехов – да бросьте-ка… А стихи и впрямь восхитительные.

И все-таки отчасти благодаря именно этой головокружительной страсти Марине легче было пережить безумную эпоху, в которую ей выпало жить. Ведь на дворе продолжал царить 1918-й, потом начался 1919 год. Гражданская война, голод, ужас жизни… Сергей пропал, она ничего не знала о нем уже несколько лет. Марина изредка разражалась горестными письмами общим знакомым, где снова и снова повторяла сто раз повторенные фразы о любви к нему, о том, что у них одна душа… Ночи проводила неразборчиво… Занималась детьми, хозяйством.

> «Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – ведра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре… Самовар ставлю горячими углями, которые выбираю тут же из печки… Потом уборка… потом стирка, мытье посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки „для детского сада“… Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, – Староконюшенным на Пречистенку за усиленным питанием, оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову – не дают ли хлеб, – оттуда опять в детский сад, за обедом, – оттуда – по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками – ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! – по черной лестнице – домой. Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши… Кормлю и укладываю Ирину… Кипячу кофе. Пью. Курю… В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда – хлебом…»

Наконец Марина заметила, что кормить девочек нечем, что они умирают от голода. Отдала их в приют, надеясь, что там кормежка посытней, но спустя некоторое время забрала оттуда

разболевшуюся Алю, оставив пока Ирину, которая там и умерла…

Бог послал ей в этом горе четыре утешения любовью, почти одновременно свершившейся.

Словно мало Марине было одной Софьи, одной *подруги*, – неведомая темная сила повлекла ее к Сонечке Голлидэй, юной и прелестной актрисе того же театра, роман с которым у Марины уже осуществился дважды – через Антокольского и Завадского. Сонечку уже сейчас признавали гениальной актрисой, а будущее ей прочили еще более блистательное.

Спектакль «Белые ночи», в котором она исполнила главную роль, стал феерическим событием в Москве театральной. Теперь всякая постановка была обречена на успех, если в ней играла Сонечка. Правда, режиссерам с ней было трудно: «Она – сплошное исключение, на сцене только ее видно».

Та, первая, Софья была старше Марины, сильнее, более властной и знающей, что ей надо. В этой новой связи сильной стороной была именно Марина: и старше на четыре года, и вообще – взрослая самостоятельная женщина, в то время как Сонечка – ребенок, инфанта, «маленькая девочка с двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками. Передо мною – живой пожар… И взгляд из этого пожара – такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!»

Со стороны Марины это было – обожание и защита, то самое любовно-материнское чувство, которое она раньше испытывала только к молодым красивым мужчинам. «Я часто обнимала ее за плечи жестом защиты, охраны, старшинства… Не помню, чтобы я ее целовала, кроме поцелуев обычных, почти машинальных, при встрече и прощании. И вовсе не из-за дурной – или хорошей – стыдливости: я слишком любила ее, всё прочее было меньше».

Марина писала для Сонечки роли – в драмах «Фортуна», «Приключение», «Феникс» и посвящала ей стихи:

Два дерева: в пылу заката.
Под дождем – еще под снегом —
Всегда, всегда: одно к другому.
Такой закон: одно к другому.
Закон один: одно к другому.

Два дерева – два любимых Мариной тополя, которые стояли во дворе ее дома в Борисоглебском переулке, где Голлидэй была частой и желанной гостьей. А на самом деле это – о Сонечке и Марине.

Сонечка не любила, когда Марину называли поэтессой или гением, хотя преклонялась перед ее творчеством: «Перед вами, Марина, перед тем, что есть – вы, все ваши стихи – такая чуточка, такая жалкая крохотка…»

Какая трогательная ревность и зависть к славе старшей подруги!

Эта любовь длилась недолго. Не было между ними ни ссор, ни взаимных терзаний, ни измен… Просто однажды Сонечка ушла от Марины в обычную женскую долю: «Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину – в конце концов, все равно какого – и любить его одного до самой смерти». Тоска и нежность после этой разлуки родили «Повесть о Сонечке» – Марина напишет ее в конце 30-х годов, случайно, уже за границей, узнав о смерти подруги. А расстались они в самом начале 20-х.

Вопрос только – о Сонечке ли повесть… «Как я люблю – любить!» – повторяет она не однажды. Но ведь это – смысл жизни самой Марины!

Вторым утешением в том безвременье были – наконец-то полученные вести о муже. Сергей жив! Он еще год назад пытался сообщить о себе через Макса Волошина, однако оказии не случилось, его письмо не нашло Марину. И вот наконец-то Илье Эренбургу, поэту, журналисту, шпиону, удалось разыскать его в Константинополе и даже переслать Марине от него вести:

«Мой милый друг Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости…

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать – мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы…

Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю – сердце замирает – страшно – ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен – не буду об этом…

Все годы нашей разлуки – каждый день, каждый час – Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать…

О себе писать трудно. Все годы, что не с Вами, прожиты, как во сне. Жизнь моя делится на „до“ и „после“, и „после“ – страшный сон, рад бы проснуться, да нельзя…

Что сказать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый

день отвоевывается, и каждый приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всем расскажу при свидании. Очень мешают люди, меня окружающие. Близких нет совсем…»

«С сегодняшнего дня – жизнь, – записала в дневнике Марина. – Впервые живу».

Ответа мужу она отправить не могла: записала его в тетрадку, как черновик стихотворения:

«Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то – во всяком случае – каменеют. Только что получила Ваше письмо: закаменела… Не знаю, с чего начать. – Знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам…»

Они и в самом деле истосковались друг по другу, эти параллельные прямые, которые никогда не пересекутся, но которым непременно нужно знать, что вот она, другая параллельная, – существует, идет, бежит где-то поблизости…

Писала я на аспидной доске.
И на листочках вееров поблеклых.
И на речном, и на морском песке.
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —
И на стволах, которым сотни зим…
И, наконец, – чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! любим! —
Расписывалась – радугой небесной.
Как я хотела, чтобы каждый цвел.
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол.
Крест-накрест перечеркивала имя…
Но ты, в руке продажного писца.
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Не проданное мной! *внутри* кольца!
Ты – уцелеешь на скрижалях.

Над этими стихами – посвящение: *С.Э.*

Какие слова, какие признания, какая любовь, какое исступление чувств!

Если перечесть все стихи Марины, найдешь подобные слова, подобное исступление практически в каждом из них. Она каждому из своих любовников «расписывалась радугой небесной». Каждого – мгновение или вечность, это уж кому как повезло, – любила единственной и смертельной любовью. Каждого могла уверить, что он – смысл ее существования. И с легкостью необыкновенной бежала (вернее, летела!) уверять в том же

другого.

И вот что интересно: что в каждом новом признании, практически перечеркивающем предыдущее, – ни слова лжи…

А еще интереснее, что в тетрадях Марины сохранились ее пометы, сделанные рядом с тем или иным исступленным, страстно накаленным стихотворением: «На самом деле ничего этого не было…»

Но Сергей и любовь к нему – да, это было, было, было!

Однако, вздохнув с облегчением оттого, что он нашелся, и в очередной раз занеся его имя на свои собственные скрижали, отрекшись от всех предыдущих, ничтожных перед ним, очистившись этим отречением, Марина рухнула в новую любовь, которая длилась две с половиной недели физически, а потом несколько лет – в письмах.

Ему было двадцать четыре года, он был поэтом и литературным критиком. Евгений Ланн. В душе у Марины он оставил по себе вот такое впечатление: «Мучительный и восхитительный человек!»

Стихами, написанными в его честь, Марина осталась недовольна: «Беспомощный лепет ослепленного великолепием ребенка – не те слова – все не то – (*я*, но – не Вам, – поняли?) – Вам нужно все другое, ибо Вы из всех, меж всех – другой… то, что *с* Вас сошло на меня (говорю как – о горе!), другое и по-другому скажется, чем все прежнее. – Спасибо Вам! – Творчески!»

Вскоре Ланн уехал в Харьков, где в то время работал. И на некоторое время стал для Марины постоянным адресатом.

Евгений Ланн (на самом деле – Лозман, но это детали) над письмами Марины откровенно хихикал, хотя и гордился ими: вот ведь ему, второстепенному (третье-, третьестепенному, тут он на свой счет сильно обольщался); удалось вызвать такую любовь, такое доверие гениальной поэтессы! На самом деле Марина на его счет ни минуты не обольщалась, не идеализировала «мягкий голос и жесткие глаза» человека, которому не женская душа нужна, а «мужская дружба… и готовность – если надо – умереть друг за друга! Только не друг без друга!», который не приемлет «никакой заботы! Холодно – мерзни, голоден – бери, умирать – умирай, я ни при чем, отстраняюсь галантно! – без горечи…». А в любви он – «женское обаяние: духи, меха – и никакой грудной клетки!». «Вы мне чужой, – пишет она. – Вы громоздите камни в небо, а я из „танцующих душ“…»

Ланн всего-навсего служил Марине чем-то вроде очередного дневника. Знаете, бывают в писчебумажных лавках такие тетрадки с надписями: «Для заметок», «Для записей», «Рабочая

тетрадь», «Конторская книга» и т. п.? Ну так вот эта тетрадка в божьей писчебумажной лавке звалась «Евгений Ланн». И более ничего она собой не представляла. Марина в глубине души, похоже, понимала, что написать Ланну, скрупулезному собирателю всяческих мелочей и мелочишек, духовной Коробочке (это ему комплимент!), – все равно что отправить письмо в вечность. На худой конец – в свой будущий мемориальный музей. Она никогда не сомневалась, что такой музей откроется, и даже не один («Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед!», «Господи, как меня будут читать когда-нибудь… лет через сто!»), а потому старательно готовила для него экспонаты.

Вот очередной экспонат – существо из того же безумного времени Гражданской войны. Четвертое утешение Марины! На нем – собственноручно написанная ею табличка: *«18 лет. – Коммунист. – Без сапог. – Ненавидит евреев».*

Учитывая не раз звучавшие признания Марины, что она бессильна перед мужчинами (и женщинами) иудейского вероисповедания, эта новая связь с антисемитом была странна и дика. Да и само существо на сей раз попалось ей… удивительное, мягко говоря.

– Марина, Марина! – исступленный шепот в темноте. – У меня две вещи на свете: Революция – и Марина.

Такой восторженной любви к себе она еще не знала. Чудилось, он ее вовсе не видит, точно так же, как она не видела истинной внешности или души своих возлюбленных, пока не протирала вдруг свои затуманенные страстью глаза. Наконец-то сбылась ее мечта о мужчине, которому совершенно наплевать (не для мемуаров о собственном немещанстве и высоте духовной, а воистину!) на то, красивая она или нет, хорошо ли одета, как вообще выглядит.

Это было необыкновенно важно для Марины, которая однажды настрочила в дневнике такое признание: «Моя душа чудовищно ревнива: она бы не вынесла меня красавицей. Говорить о внешности в моих случаях – неразумно: дело так явно и настолько – не в ней!

– „Как она Вам нравится внешне?“ – А хочет ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю – на такую оценку! Я – я: и волосы – я, и мужская рука моя с квадратными пальцами – я, и горбатый нос мой – я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я – я незримое.

Чтите оболочку, осчастливленную дыханием Бога. И идите: любить – другие тела!»

Кстати, идеализировала себя, «зелень глаз своих, и нежный

голос, и золото волос» Марина только в стихах, да и то – «молодых». А вообще-то она относилась к своей внешности вполне трезво и даже критически: небось в бессменном коричневом бумазейном платье, с рано поседевшими волосами и поблекшим румянцем ей далеко до красоты! «Я слишком молода, чтобы из самолюбия утверждать, что – это мне нравится; я им (седым волосам) действительно рада, как доказательству, что какие-то силы во мне таинственно работают – не старость, конечно! – а может быть, мои – без устали – работающие голова и сердце, вся эта моя страстная, скрытая под беззаботной оболочкой творческая жизнь, – как доказательство того, что и на такое железное здоровье, как мое, нашлись железные законы духа…

Я абсолютно declassee. По внешнему виду – кто я?.. Зеленое, в три пелерины, пальто, стянутое широченным нелакированным поясом (городских училищ). Темно-зеленая, самодельная, вроде клобука, шапочка, короткие волосы.

Из-под плаща – ноги в безобразных серых рыночных чулках и грубых, часто нечищеных (не успела!) башмаках. На лице – веселье.

Я не дворянка (ни говора, ни горечи), и не хозяйка (слишком веселюсь), и не простонародье… и не богема (страдаю от нечищеных башмаков, грубости их радуюсь – будут носиться!).

Я действительно, *абсолютно*, до мозга костей, – вне сословия, профессии, ранга. За царем – цари, за нищим – нищие, за мной – пустота».

И вот сошлась эта («парочка – баран да ярочка») она, двадцативосьмилетняя, рано постаревшая Марина Цветаева, – и большевик, молоденький красноармеец, по-крестьянски румяный и синеглазый. Он приехал из Воронежа в Москву по каким-то сугубо партийным, может быть, даже государственным делам, однако в тощем вещмешке его лежали не только черные сухари, махорка, мандаты, удостоверения с крупными лиловыми печатями, но и томик Ахматовой (он и сам, кстати, писал стихи). Едва оказавшись в Москве, он моментально оказался в каком-то, условно говоря, литературном салоне, где и увидел – нет, не Ахматову, конечно, которая жила в Петрограде, – увидел он Марину Цветаеву, от которой ошалел с первого взгляда.

Сначала ему было негде жить в Москве – Марина пригласила его в свой дом и в свою постель. Одно было неотделимо от другого, потому что в ее доме спать где-то еще, кроме как в ее постели, было просто негде. Да и незачем.

– Марина, – бормотал ошеломленный поэт, едва разомкнув объятия, – ведь вы – Москва… странноприимная!

Мальчик, хоть и большевик, хоть и русский, был не столь уж простой. Он записался в партию накануне наступления белых на Воронеж, успел повоевать на Крымском фронте, и офицеров, попадавших в плен, кого расстреливал, а кого и отпускал – по «глазам». Словом, ангел с крыльями, запятнанными кровью.

Может быть, благостный, сочувствующий своим жертвам ангел смерти?

И малиновый румянец во всю щеку, и глаза чудесные, и руки по локоть в крови… Для Марины – олицетворение Руси: и взбесившейся в 17-м, и той, минувшей, сказочной, которая исчезла, больше не вернуть. Руси, которую она и презирала, и ненавидела, и боготворила… Подобно большинству русских, между прочим! После встречи с Борисом Бессарабовым (именно так его звали) она начала восторженно и вдохновенно писать поэму «Егорушка» – о Егории Храбром, русском поэтическом воплощении Георгия Победоносца.

«В годы гражданской войны я была в Москве не с большевиками, а с белыми. Большевиков я как-то не заметила, заметила их только косвенно… У меня: любить одно – значит не видеть другого!» Она их даже не слишком-то ненавидела, несмотря на то, что была «плакальщицей белого движения», как сама себя называла. «Ненавижу – поняла – вот кого: толстую руку с обручальным кольцом и (в мирное время) кошелку в ней, шелковую („клеш“) юбку на жирном животе, манеру что-то высасывать в зубах, шпильки, презрение к моим серебряным кольцам (золотых-то, видно, нет!) – уничтожение всей меня – все человеческое мясо – мещанство!..

Москва пайковая, деловая, бытовая, заборы сняты, купола в Кремле черные, на них вороны, все ходят в защитном, на каждом шагу клуб-студия, – театр и танец пожирают всё. Но – свободно, можно жить, ничего не зная, если только не замечать бытовых бед».

Она их и не замечала. И вообще, по ее собственному признанию, видела в человеке только то, что у него в грудной клетке.

Содержимое грудной клетки Бориса Бессарабова ее до поры до времени вполне устраивало, но, поскольку Марина долго не могла выносить рядом с собой никого (да и ее мало кто выдерживал!), ее любовник вскоре нашел себе другое жилье. Однако от Марины не отвязался: забегал попить желудевого кофе и почитать стихи. Ну и бесов потешить…

Марина так описывала его московские приключения – не без иронии, между прочим (это ведь только в стихах она идеализировала Егорушку, а в жизни его прототип ее немало

забавлял):

«Сейчас живет в душной – полупоповской-полуинтеллигентской семье (семействе!) – рубит дрова, таскает воду, передвигает 50-пудовые несгораемые шкафы, по воскресеньям чистит Авгиевы конюшни (это он называет „воскресником“), с утра до вечера выслушивает громы и змеиный шип на советскую власть – слушает, опустив глаза (чудесные! 3-летнего мальчика, который еще не совсем проснулся!)… Слывет дураком. Наружность: богатырская. Малиновый – во всю щеку – румянец, вихрь неистовый – вся кровь завилась! – волос, большие блестящие как бусы черные глаза, прэлэстный невинный маленький рот, нос прямой, лоб очень белый и высокий. Косая сажень в плечах, – пара – донельзя! – моей Царь-Девице…[5] Себя искренно и огорченно считает скверным, мучится каждой чужой обидой, неустанно себя испытывает, – все слишком легко! – нужно труднее! – трудностей нет, берет на себя все грехи советской власти, каждую смерть, каждую гибель, каждую неудачу совершенно чужого человека! – помогает *каждому* с улицы, – вещей никаких! – всё роздал и всё рассорил! – ходит в холщовой рубахе с оторванным воротом – из всех вещей любит только свою шинель, – в ней и спит, на ногах гетры и полотняные туфли без подошв – „так скоро хожу, что не замечаю!“ – с благоговением произносит слово – „товарищ“, а главное – детская, беспомощная тоскливая исступленная любовь к только что умершей матери».

Это и притягивало к нему Марину, это и держало их рядом какое-то время. Ну что ж поделать, если снова – любовь?

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе.
Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь.
О милая! Ни в гробовом сугробе.
Ни в облачном с тобою не прощусь.
И не на то мне пара крыл прекрасных.
Дана, чтоб на сердце держать пуды.
Спеленутых, безглазых и безгласных.
Я не умножу жалкой слободы.
Нет, выпростаю руки, стан упругий.
Единым взмахом из твоих пелен.
Смерть, выбью! – Верст на тысячу в округе.
Растоплены снега – и лес спален.
И если все ж – плеча, крыла, колена.
Сжав – на погост дала себя увесть, —
То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом.
Стихом восстать – иль розаном расцвесть!

Однако не просто так Марина говорила о себе: «Дух у меня иногда шалит телом, никогда: тело – духом». Что могло связывать ее с Бессарабовым, кроме того, что он идеально подходил на роль Егорушки на том прокрустовом ложе, которое звалось – ее будущая поэма?

Именно поэтому новое увлечение Марины, пришедшее на смену Бессарабову, всё, от и до, находилось только в области духа. И не только в том было дело, что новый ее знакомый был лет на тридцать – тридцать пять старше ее и не нравился ей как мужчина. Хотя нет, он ей очень нравился, но – она для него не существовала как женщина… Собственно, для него не существовали женщины вообще, а смыслом его жизни были восемь томов собрания его сочинений. Звали этого человека Сергей Михайлович Волконский, он был историком, приехал из Тамбова, где преподавал для учителей в народном университете. Марина предложила ему переписывать набело его мемуары… Невероятно обогатила ее работа и именно прощание с этой дружбой – лучшей в ее жизни! Самым тяжелым было, когда настало время прощания с Россией. Время отъезда с родины.

Тоска по родине! Давно.
Разоблаченная морока!

Именно с таким настроением уезжала Марина из России. Платонические отношения с Волконским были хороши, но как-то что-то чрезмерно давно настоящая или выдуманная любовь не заставляла содрогаться сердце, не было повода мучиться, страдать, рваться… «Не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение – любовь». Ну так вот – сердце что-то давненько подремывало. Марина ведь была мазохистка и сама отлично это понимала: «В любви меня нету, есть исступленное, невменяемое, страдающее существо, душа без тела»:

Я любовь узнаю по боли.
Всего тела вдоль!
Даже Муза задремала, остыла:
Не злая, не добрая.
А так себе: дальняя.

Марине казалось: единственный человек, который сейчас способен если не разжечь новый пламень, то хотя бы поддержать

горение прежнего огня, это ее муж Сергей Эфрон, который жил теперь то в Берлине, то в Праге, и муж настоятельно звал Марину переезжать, хлопотать о разрешении покинуть Россию.

Она не сомневалась ни на миг, что ехать – надо. Сергей уже вымотал ее душу – вымотает еще больше… какое счастье! Стихи при нем будут стимулироваться хотя бы потому, что семейная жизнь – уже сама по себе страдание, потому что «человек задуман один, где двое – там ложь»:

Но тесна вдвоем.
Даже радость утр…
Ты и путь и цель.
Ты и след и дом.
Никаких земель.
Не открыть вдвоем.

Ну и, может быть, бог окажется милосерд и что-нибудь подаст еще сердцу, кроме родного мужа…

Бог и впрямь окажется милосерд и щедр. То, что он пошлет Марине в эмиграции, превзойдет все испытанное ею ранее. «Из ласточек в Сивиллы», как она опасалась накануне отъезда, – получится далеко не сразу.

Можно представить себе чувства ее мужа, человека истового в воскресшей любви к жене, в осознании необходимости ее рядом с собой, ошалевшего на чужбине от духовного одиночества, чувства мужчины, который решил махнуть рукой на все былые урядицы и неурядицы и начать в своей семейной жизни все с чистой страницы. Вот Сергей добивается для Марины визы, вот он страстно ждет встречи… Она медлит с отъездом, пропускает срок действия визы, надо хлопотать заново… Почему пропускает? Нет, особых препятствий в Совдепии не возникло – в 1923 году как раз выпускали очень многих интеллигентов, желающих покинуть страну: чтоб не путались под ногами у новой большевистской поросли писателей, поэтов, ученых: с прежними-то, «царской выделки», новым скороспелкам-неучам конкурировать было трудно, порою даже невозможно. Перебить бы всех… Но тогда до этого еще не додумались, вернее, пока не решались на это. Итак, препятствий Марине никто не чинил, просто она непомерно долго собиралась, возилась, упаковывая милые бытовые мелочи: карандашницу с портретом Тучкова-четвертого, героя войны 1812 года, обожаемого ею в юности, «Сережин подстаканник», «Алин портрет», какое-то ожерелье, какую-то тарелку со львом, сундучок с рукописями, чемодан, портплед, плетеную корзину с

«хозяйством»… книги раздарила по знакомым… Непомерно долго прощалась с этими самыми знакомыми, обежала (и не раз) все «салоны».

Это Сергей понимал и смирял свое нетерпеливое и встревоженное (вторично визу получить было почти невозможно, и если Марина пропустит еще один срок выезда, дело может кончиться полным провалом) ожидание: оторваться от Родины не просто нелегко – больно до крови. Он и сам так же отрывался, отплывая с остатками Белой армии из Крыма… Но вот она приедет – и все сразу будет иначе.

И-де-а-лист…

Он и впрямь был сущий идеалист. Это с самого начала стало причиной его личной семейной трагедии, станет причиной и трагедии жизни. Он вечно чем-то обольщался – то Мариной, то белой идеей, то красной идеей… В результате оказался там, где оказался, натворил то, что натворил, пришел на край гибели сам и семью привел…

Но бог с ним, с печальным будущим, не о нем теперь речь.

Марина с дочерью прибыли в Берлин как раз, когда Сергея задержали в Праге неотложные дела. Он опоздал на встречу с ними на несколько дней. И вот наконец-то! Долго стояли обнявшись посреди площади, залитой солнцем, долго вглядывались в лицо друг друга, узнавая и не узнавая, радуясь (встретились! вместе!) – и в тайниках души пугаясь до паники (да ведь он – она – изменился – изменилась – до неузнаваемости, это чужой мне человек, сможем ли если не вернуть старое, то хотя бы ужиться?)… И самое страшное открытие, которое вдруг сделал Сергей (сначала просто почуяв, потом догадавшись, потом узнав наверняка): глаза Марины, может быть, залиты слезами от радости при встрече с ним, однако нетерпеливая дрожь, которая бьет ее, и ночные строки стихов, и непрерывно пишущиеся письма, и задумчивость, и жажда куда-то сбежать из дому – эти безошибочные приметы Марины-влюбленной обращены отнюдь не к нему, а к кому-то другому (может быть, третьему и четвертому… имя им – легион!). И пожар в ее душе разожжен – не им, Сергеем Эфроном, мужем, который так ждал ее, так надеялся воскреснуть сердцем в этой встрече, а…

Кем?

В Берлине Марина встретилась с Ильей Эренбургом, который когда-то доставил ей весть о Сергее, и он познакомил ее с Абрамом Григорьевичем Вишняком. Гораздо чаще его именовали Геликоном – по названию его издательства. Оно открылось в Москве еще в 1917–1918-м годах, а потом эмигрировавший

Вишняк вновь открыл его в Берлине. «Геликон» выпускал книги изысканные как по содержанию, так и по полиграфическому исполнению, заставлявшие вспомнить о временах расцвета русского издательского дела. Многие русские литераторы – и эмигранты, и оставшиеся в России – печатались в «Геликоне»: Эренбург, Пастернак, Андрей Белый… Теперь вот приехала Марина Цветаева, которая немедленно получила от Геликона предложение издать сборник стихов – и немедленно влюбилась в издателя.

Одновременно же влюбилась она в Эренбурга и Романа Гуля – в то время прозаика, бывшего участника Белого движения, в 1918-м высланного из России, потом – известного мемуариста. С Гулем, правда, все кончилось дружбой, с Эренбургом тоже сошло опять на дружбу, однако Марина очень сильно на него гневалась за то, что предпочел ей *«плоть»* – другую женщину. И того, и другого Марина какое-то время донимала своими знаменитыми письмами, исполненными иссушающей откровенности. По деликатному признанию Гуля, он отвечал, но, вероятно, не так, как она хотела…

Она хотела видеть в дружеской переписке как минимум эпистолярный роман века. Она хотела душевно полонить каждого понравившегося ей мужчину. Она хотела, хотела, хотела любви, ибо, может быть, поняла, что с мужем ее не найдешь – обгорелыми дровами нового огня не разжечь. «Лютая юдоль – дольняя любовь…» – напишет она спустя несколько дней после встречи с мужем.

Ближняя – не менее лютая. А то и более!

Геликон был просто-таки подарком судьбы, к тому же внешне – черноволосый, сухощавый, элегантный – напоминал изысканного Никодима Плуцер-Сарна. Ах, как можно было бы любить такого «изнеженного зверя»! Какие стихи написать об этой любви, а не только те девять писем, на которые он ответил всего только раз, и то вяло, плавно – словом, никак…

Беда состояла в том, что у Геликона не было никакого расположения любить Марину! Она так и осталась в убеждении, что Геликон был в то время к ней неравнодушен, хотя он лишь восхищался ее талантом, а ее саму – просто боялся и совершенно не понимал. А любил он ту самую *«плоть»*, что и Эренбург. Ну да, так уж вышло, что оная *«плоть»* была у них на двоих – законная Геликонова жена, которую Эренбург у него отбил. Геликон страдал так, что пулю в лоб хотел пустить. Марина эту женщину неодолимо (физически!) ненавидела, обрушивала на Геликона лавины писем, заклиная плюнуть на плоть и разрядить пистолеты, потому что духовная связь с нею (а там, почем знать,

и до иной дело дойдет!) даст ему куда больше, чем какая-то там пошлая жена. Отчего-то Марина была убеждена, что жена Геликона ее ревновала и ненавидела за высокую духовность, хотя та и знать не знала о ее существовании и была всецело поглощена только своими двумя мужчинами, между которыми она с упоением выбирала, выбирала, выбирала… Приятнейшее, знаете ли, это занятие – выбирать между двумя влюбленными в тебя мужчинами!..

Григорий Адамович, поэт ехиднейший, уже изрек Марине приговор, обжалованию не подлежащий: «Она не нравилась мужчинам!»

Она не нравилась мужчинам не только внешне – своей полной и окончательной неухоженностью и воинствующим нежеланием подчеркнуть свою женственность, хоть как-то приманить мужчину, подстроиться к нему… Один из мимолетно замеченных ею и призванных было в возлюбленные, но дезертировавший, Александр Александрович Туринцев (в молодости – поэт, потом – священник), исповедовался в узком кругу: «Мы, мужчины, – ведь мы – гусары. Мы завоевываем женщин… Мы приходим – и уходим, а они должны нас ждать. А Марина Ивановна не хотела ждать. Она всегда хотела сама… А этого мы не любим. Нет, она не была привлекательна как женщина…»

Марина злилась, негодовала: да почему, почему эти ничтожные существа мужского пола ее не понимают? Что они знают о любви?! По ее мнению, любить – это видеть человека таким, каким его задумал бог, но не осуществили родители. *Не* любить – видеть вместо него стул, на котором он сидит, стол, за которым он работает или ест… Она видела в мужчинах то, что хотел вложить в них Творец!

Почему им это не нравится?!

Они – примитивны? Она – чрезмерно сложна?

«Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, который мне чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, „пожалеть“, что он пугается – или того, что я его люблю, или того, что он меня полюбит и что расстроится его семейная жизнь. Этого не говорят, но мне всегда хочется сказать, крикнуть: Господи Боже мой! Да я ничего от Вас не хочу. Вы можете уйти и вновь прийти, уйти и никогда не вернуться – мне все равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме своей души!»

Тонкость в том, что мужчине нужно, чтобы женщина любила его тело, а вовсе не свою душу. Вот чего Марина делать совершенно не умела.

Не умела до тех пор, пока бог не послал ей встречу с

Константином Родзиевичем. Он напомнил ей о том, что душа – не сама по себе витает, крылышками помахивая, а гнездится в теле человека – причем не только в сердце, но и в чреслах… иной раз даже в большей степени в чреслах, чем в сердце!

Между прочим, несмотря на немалое-таки количество любовников Марины и ее кажущуюся готовность разделить постель чуть ли не с первым встречным (при условии, понятное дело, что при содрогании их тел вострепещет крылышками и Маринина Муза), она была не слишком-то искушена в постельных радостях. Оттого и ревновала к *«пплоти»* столь неистово, оттого и завидовала: здесь «дом моей нищеты», здесь «каждая первая встречная сильнее, цельнее и страстнее меня».

Ну не попался, не попался ей в жизни любовник, который заставил бы ее естество загореться! Она, и подстраиваясь под ритм движений мужского тела, жила только душою, легко вспыхивала, ждала нетерпеливо – ну вот, ну сейчас я это узнаю… Но потом «любовную любовь отбывала как повинность», потому что эти телодвижения были непременной частью того образа любви, того любовного мифа, который Марина старательно создавала своими стихами. Она, поэтесса (то есть поэт, извините!) Цветаева, конечно, была выше бытового, мещанского, однако знала: без трения двух тел огня не добудешь. И стихи, напитанные лишь схоластической духовностью, никому не будут нужны. Распутство в сочетании с идеализмом (взять столько-то и смешать в таких-то пропорциях…) – вот именно то, что нужно!

С другими – в розовые груды.
Грудей. А я тебе пребуду.
Сокровищницей подобий…

А *им*, хоть тресни, нужны были розовые груды грудей!

Ну и пожалуйста! Ну и не надо! Тогда я буду завидовать Богородице: «Не потому, что *такого* родила, а потому, что *так* зачала!» Тогда я горделиво провозглашу: «Плоть это то, что я отрясаю…»

Народная мудрость гласит: не зарекайся!

В Берлине Сергей, Марина и Аля прожили не очень долго. В Чехии жизнь была дешевле, правительство Масарика обещало пенсию участникам Белого движения, Сергей учился в Праге, можно было поселиться неподалеку – в Мокропсах. Сергей настаивал на переезде. Марине было все равно: с Гулем, Геликоном, Эренбургом и не сладилось, ну и бог с ними. Ведь у нее уже завязалась творческая переписка с Пастернаком, которая

вскоре перерастет в эпистолярный роман такой силы и страсти, что она даже припишет Борису Леонидовичу зачатие своего сына (учитывая, что они не увидятся за все время течения этого романа ни разу, это признание будет звучать совершенно в духе «завидую, что *так* зачала»), а не все ли равно, откуда письма писать – из Берлина или Праги?

Вереницею певчих свай.
Подпирающих Эмпиреи.
Посылаю тебе свой пай.
Праха дольнего… По аллее.
Вздохов – проволокой к столбу —
Телеграфное: лю-ю-блю…

Одновременно у нее начался и надолго затянулся – пылкий, пылчайший! – столь же эпистолярно-сексуальный (сугубо виртуальный, как выразились бы сейчас мы, порождения хайтековского века), что и с Пастернаком, роман с Александром Бахраком. Он был очень молод, этот рецензент ее только что вышедшей книги «Психея», на десять лет младше Марины. А значит, с ее точки зрения, он идеально подходил для объекта все той же матерински-страстно-женской любви. И годился для обмена письмами – в надежде на столь же иссушающую откровенность-любовь-мечту: «Незнакомый человек – это все возможности, тот, от которого все ждешь».

Впрочем, взаимность даже не имела особого значения, главное – чтобы Бахрак не мешал Марине любить его!

Ну, слава богу, он оказался достаточно умен и не мешал. Хотя, пожалуй, иногда пугался бури признаний, которые на него обрушивались.

Материнское – сквозь сон – ухо.
У меня к тебе наклон слуха.
Духа – к страждущему: жжет? да?
У меня к тебе наклон лба.
Дозирающего верховья.
У меня к тебе наклон крови.
К сердцу, неба – к островам нег.
У меня к тебе наклон рек.
Век… Беспамятства наклон светлый.
К лютне, лестницы к садам, ветви.
Ивовой к убеганью вех…
У меня к тебе наклон *всех*.
Звезд к земле (родовая тяга.

Звезд к звезде!) – тяготенье стяга.
К лаврам выстраданных могил.
У меня к тебе наклон крыл.
Жил… К дуплу тяготенье совье.
Тяга темени к изголовью.
Гроба, – годы ведь уснуть тщусь!
У меня к тебе наклон уст.
К роднику…

Эту несуществующую, неосуществленную в реальности, но оттого не менее сильную и властную страсть к Александру Бахраку Марина именовала болезнью, а записи в ее рабочей тетради, относящиеся к нему, назывались «Бюллетень болезни». Мучительны были для нее дни, когда она не обнаруживала среди своей огромной корреспонденции писем Александра Бахрака. А она хотела именно его писем, его подчиненности ей, его отзыва на сигналы ее души. Но беспощадным своим умом Марина уже прозревала, что история эта пылкая – еще одно разочарование, которое ей придется пережить именно потому, что Александр – еще мальчик. То, что ее к нему притягивало, то же должно было и оттолкнуть.

В своей утомительной (для ее корреспондентов) жажде непременно, везде и всюду расставить все точки над «i», Марина попыталась разъяснить своему другу причину их неминуемого вскорости разрыва:

«Я не для жизни. У меня всё – пожар! Я могу вести десять отношений (хороши „отношения“! – *Е.А.*), сразу любить всех и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он – единственный. А малейшего поворота головы от себя – не терплю. Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный человек, а Вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, НИ-ЧЕ-ГО. Все спадает, как кожа, а под кожей – живое мясо или огонь. Я ни в одну форму не умещаюсь – даже в наипросторнейшую своих стихов! Не могу жить. Все не как у людей… Что мне делать – с этим?! – в жизни?

…Думаю о Вас и боюсь, что в жизни я Вам буду вредна: мое дело – срывать все личины, иногда при этом задевая кожу, а иногда и мясо… Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются теми размерами чувств, которые во мне возбуждают, они делают тройную ошибку: не они – не во мне – не размеры. Просто безмерность, встающая на пути. И они, м. б., правы в одном только: в чувстве *ужаса*… каждое мое отношение –

лавина…»

А под занавес Марина приуготовила Бахраку вовсе уж тягостное признание:

«Душа и Молодость. Некая встреча двух абсолютов. (Разве я Вас считала человеком?!) Я думала – Вы молодость, стихия, могущая вместить меня – мою!»

М-да… «Я могу каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он – единственный…» «Разве я Вас считала человеком?!» Признание, замечательное по своей откровенности. Начисто все выжигающее в душе мужчины, который мнит в своем ничтожестве, что – именно вокруг него вращается, нет – бегает, как сумасшедшее, это солнце.

Вот именно поэтому Бахрак и удостоился в конце концов такого письма:

«Мой дорогой друг, соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня: что-то кончено…

Я люблю другого – проще, грубее и правдивее не скажешь…

Как это случилось? О, друг, *как* это случается?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет и которые я, может быть, в первый раз за жизнь слышу. „Связь“? Не знаю. Я и ветром в ветвях связана. От руки – до губ – и где же предел? И есть ли предел?… Знаю: большая боль. Иду на страдание».

Подобное письмо, ну, по форме другое, но столь же состоящее из полунамеков вперемежку с грубой откровенностью, женщина могла бы послать покидаемому любовнику. И немедленно, закончив это краткое, уже почти безлюбовное послание Бахраку, Марина принялась строчить другое – тому новому, ради которого давала отставку прежнему:

«Арлекин! – Так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть – Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня – хаос! – а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора: или всё – или ничего, но в этом *всё* – как в первозданном хаосе – *столько*, что немудрено, что человек пропадал в нем, терял *себя* и в итоге меня…

Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Всё любила, всё любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я не *умела* с живыми! Отсюда сознание: не женщина – дух! Не жить – умереть. Вокзал».

Арлекин?! Да откуда же он взялся – среди множества Маринespecиных Пьеро?

Вскоре после того, как семья покинула Германию, переехала в Чехию и устроилась близ Праги в местечке Мокропсы (что это, ради господа бога, забыли *псы* и почему они оказались *мокрые*?!), Сергей привел однажды в гости своего товарища по Пражскому университету – Константина Родзиевича.

Еще недавно она воинственно декларировала в письмах Роману Гулю: «Основа творчества – дух. Дух – это *не* пол, *вне* пола. Пол – это *разрозненность*; в творчестве соединяются разрозненные половины Платона. Пол – это то, что должно быть переборото, плоть – это то, что *я отрясаю*». Теперь она согнулась под бременем этого «отрясённого», этого «переборотого», потому что Константин был воплощением мужского начала в чистом, незамутненном и самом что ни на есть сексуальном виде.

…Может быть, в жизни каждой женщины, которая живет более духовно, чем физически, жизнью которой более властно правит воображение, чем бытовая *злоба дня*, происходит однажды такая роковая встреча. Она, убежденная, что достигла высот духа, лоб в лоб – не миновать, не разминуться! – сталкивается с существом, которое, быть может (наверняка!), слабее ее умственно, далеко (далеко-о-о!) не столь интеллектуально развито, уступает ей по набору нравственных и моральных качеств (хотя Маринины-то нравственные критерии были очень, ну очень гуттаперчевы, даже пластилиновы), – однако против этого примитивного (ну, даже так!) существа она бессильна со всем своим интеллектом и высокой духовностью. Авангардные отряды ее нравственного войска ретируются куда-то в арьергард… да что там, на задворки голой физиологии – и оттуда с недоверчивым ужасом наблюдают за тем, что же вытворяет тело их хозяйки, этой рано постаревшей, замученной бытом, и долгом, и домом, и равнодушием к себе женщины. С какой-то торжествующей, почти патетической радостью она сбрасывает с себя путы перманентной, уже в привычку вошедшей сексуальной неудовлетворенности и готова предаваться радостям плотской любви – где, когда и как бог пошлет.

Бог?..

Да какая разница, кто ей посылает эту бурю наслаждений?! Главное – что посылает!

Да он и не вслушивался. Слепо брал от Марины, как брал от множества женщин, ибо обладал «сильнейшим из даров – очарованьем», был Казановой по призванию, по складу души и тела – невысокого, сухого и сильного, созданного прежде всего

для того, чтобы высекать из женского тела даже не искру – пожар наслаждения. При этом он вовсе не был изнеженным мальчиком вроде Завадского, однако на роль шевалье де Лозена в Маринином историческом мифотворчестве подходил идеально. Вот уж был герой, вот уж был любовник, не воображаемый – осязаемый и действительный!

И при этом насквозь загадочный.

Константин Родзиевич был на три года младше Марины, сын военного врача, наполовину поляк. Не закончил юридического образования – ушел волонтером на фронт, во флот. После революции служил у красных, попал в плен к белым – и в результате оказался с ними в эмиграции. Да шпионом он был! Нормальным советским разведчиком, засланным для длительного внедрения. И немалую, конечно, роль он сыграл в формировании просоветских настроений Сергея Эфрона, который, совершенно как тот «запорожец за Дунаем» вдруг «в турка перевернулся», из сугубо белого сделался ярчайше красным и даже потащился (и семью потащил) грехи замаливать и наград от новой власти искать в Россию… За что и попал, конечно, к стенке.

Константин оказался умнее. Он какие-то дела для красной разведки делал, однако умудрялся при этом стоять чуточку в стороне, жить своей жизнью и даже не помышлял о возвращении на историческую родину (вернее, этническую, ведь исторической – России – на свете уже не было, она погибла в феврале 1917-го… мир праху ее!). Он учился в Карловом университете на факультете филологии и философии, немножко рисовал, немножко занимался скульптурой, увлекался журналистикой…

Стихов он не любил и не читал их (кроме Гумилева). Зато любил женщин и знал у них успех! Он был неотразим, сила его обаяния была почти животная, он с первого взгляда знал, как, какими словами (чаще – жестами и телодвижениями) можно обворожить-очаровать-опутать любую! Победил многих – играючи. Победил и Марину, жену своего друга, – бог его разберет, то ли для того, чтобы приколоть новую бабочку в свою коллекцию, новую медаль повесить на лацкан (да какую сверкающую!), новую строку занести в неисчислимый «донжуанский список», а может (не исключено!), выполняя некое «особое задание» (провалившееся по полной неспособности «объекта разработки» к реалистическому мышлению – на грани полубезумия!). Но так уж был организован Родзиевич, что каждая его новая любовница, искренне ли им желаемая или по долгу службы, чувствовала себя на время единственной или если не первой, то уж наверняка – последней рядом с ним. Была убеждена, что именно ею этот длинный список будет закрыт.

Марина тоже какое-то время обольщалась. Не Родзиевичем, нет, – своей вдруг пробудившейся тягой только лишь к реальному, плотскому, усладительному.

И в этом она непрестанно признавалась Константину, за это непрестанно благодарила:

«Милый друг, Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки ни часу не сумела жить. Это была – чужая страна. Друг, Вы поверили в меня, Вы сказали: „Вы всё можете“, и я, наверное, всё могу. Другие поступали как эстеты: любовались, или как слабые: сочувствовали. Никто не пытался *излечить*. Обманывала моя сила в других мирах; сильный *там* – слабый *здесь*. Люди поддерживали во мне мою раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить – или убить. Вы меня просто *полюбили*…»

«Вы – мое спасение и от смерти, и от жизни, Вы – Жизнь (Господи, прости меня за это счастье!)…»

«Я тебя люблю.

Я не хочу воспоминаний, не хочу памяти, вспоминать то же, что забывать, руку свою не помнят, она *есть*. *Будь*! Не отдавай меня без боя! Не отдавай меня ночи, фонарям, мостам, прохожим, всему, всем. Я тебе буду верна. Потому что я никого другого не хочу, не могу (не захочу, не смогу). Потому что *то*, что ты мне дал, мне никто не дает, а меньшего я не хочу. Потому что ты один такой!»

Сильна, как смерть, любовь…
Древняя тщета течет по жилам.
Древняя мечта: уехать с милым!
К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу – иль еще куда-нибудь.
Дальше! За предельные пределы.
Станций! Понимаешь, что из тела.
Вон – хочу! (В час тупящихся вежд.
Разве выступаем – из одежд?)
…За потустороннюю границу:
К Стиксу!..

Не меньше чем вот так: умереть вместе, умереть от любви.

(Спустя четыре года после их с Родзиевичем разлуки Марина попытается объяснить то, что с ней происходило тогда, почему это любовное исступление владело ею столь сильно. У нее завелся тогда молодой двадцатипятилетний друг, поэт

(альпинист, рано погибший) Николай Гронский. Его мать, дама, как принято выражаться «за сорок», вдруг влюбилась и ушла из семьи. Николай это очень тяжело переживал. Во всякое другое время своей жизни Марина разделила бы его переживание, его негодование. Однако теперь (после плотской школы Родзиевича!) вдруг вступилась за мадам Гронскую:

– Думал ли ты о последнем часе – в ней – женщины? Любить – это иногда и целовать. Не только «совпадать душою». Из-за сродства душ не уходят из дому. О, Колюшка, такой уход гораздо сложнее, чем даже ты можешь понять. Может быть, ей с первого разу было плохо с твоим отцом (не самозабвенно – плохо), и она осталась, как 90 или 100 остаются – оставались из стыда, из презрения к телу, из высоты души. Ей за сорок – еще пять лет… И другой! И мечта души – воплотиться наконец! Жажда той себя, не мира идей – хаоса рук, губ. Жажда себя, тайной. Себя, последней. Себя, небывалой!

Не переболевши – болезни другого не поймешь. Каждое слово о Гронской – это история Марининой болезни, которая чуть не стала для нее смертельной. А может, жаль, что не стала, – она умерла бы счастливой…

«Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам – отнимаешь – не отнимаешь – твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение – смех стих, слов – нет – и ближе, и глубже, и жарче, и нежней – и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.

Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, – вспомни. Прикосновение губ к груди…

Друг, я *вся* твоя.

А потом будешь смеяться и говорить и засыпать, и когда я ночью сквозь сон тебя поцелую, ты нежно и сразу потянешься ко мне, хотя и не откроешь глаз…»

Да полно, она ли это? Марина ли?!

Она. Разумеется, она! И прежде всего в том, что всегда, в самые упоительные минуты оставалась верна себе: «Хорошо нам может быть со всяким, боли мы хотим только от одного!» – и ждала этой боли, и не верила в то, что *это* надолго.

Такое не может длиться долго!

«Не расстанусь! – Конца нет!»
И льнет, и льнет…
А в груди – нарастание.
Грозных вод.

Нот… Надежное: как таинство.
Непреложное: рас-станемся!

Все сошлось одно к одному: Сергею Эфрону стала известна любовная история жены.

Поверил он сразу – хорошо знал натуру Марины и не мог забыть, как в Берлине накануне встречи с ним, шесть лет не виденным мужем, ее пожар уже был разожжен другим. Не мог забыть вывернутой наизнанку искренности ее стихов, из которых он – идеалист, конечно, но мужчина опытный и жену свою хорошо-о знающий – сделал безошибочные выводы: она ему не просто не верна, она не верна воинствующе! Это ее жизненное кредо!

И все же прообразы прошлых лирических героев и героинь оставались в области загадок и догадок. Как говорится, то, чего не знаешь, – не помешает. А здесь – нет догадок и полутонов, все обнажено, все всем известно, никто ничего не скрывает.

Конечно, Сергей был потрясен – кто из мужей не был бы? – и почувствовал, что этой измены он Марине не простит. Брата своего родного – прощал. Софью Парнок – прощал. На тех, бывших в его отсутствие, закрывал на них глаза, вернее, зажмуривался, ибо – призраки.

Но реального человека, друга, хоть и бывшего…

Нет.

– Нужно расстаться, – сказал он.

Марина была ошарашена. Отчего-то она даже и помыслить не могла, что эта ее неистовая страсть с вечными поездками в Прагу, с блужданиями по вокзалам, с тайными встречами, с торопливым и сладостным совокуплением где попало, на случайных квартирках и даже под кустами в пристанционном лесочке, с этим ее волшебно изменившимся лицом, полным, полнейшим (куда глубже даже, чем во время творческих запоев!) погружением в себя, да и не в душу, а в тело свое, – отчего-то она и помыслить не могла, что Сергею сделается все известно.

Она рвалась между двумя мужчинами две недели: на это время даже к знакомым переехала, чтобы мужа не видеть. Встречалась только с Константином. Он вяло утешал ее, вяло удивлялся ревнивой вспыльчивости Сергея. Для него вопрос о выборе не стоял: конечно, будет так, как захочет Марина, а вообще-то цивилизованные люди давно научились совмещать несовместимое. Значение имеет только любовь, только встречи, а что происходит в промежутке – личное дело каждого! Вот у него тоже имеет место быть вялотекущий роман с Марией Сергеевной

Булгаковой, дочерью знаменитого философа, – ну и что? Они даже периодически подумывают о том, чтобы пожениться… Ну и что! Марина замужем, он женат… но любовь-то друг к другу тут вообще при чем? Кто любить-то не дает, совершенно невозможно понять!

А между тем перед Мариной ясней и ясней вырисовывалась суть человека, который заставил ее потерять не только голову – себя потерять! «В любви есть, мой друг, любимые и любящие, – напишет она Бахраку, которому с мазохистским наслаждением снова и снова начнет пересказывать историю своего разбитого сердца. – И еще третье, редчайшее: любовники. Он был любовником любви. Начав любить с тех пор, как глаза открыла, говорю: такого не встречала. С ним я была бы *счастлива*. (Никогда об этом не думала!) От него бы я хотела сына. (Никогда этого не будет!)» Не лукавьте, не лукавьте, как поется в одной старинной песенке!..

«Мужчины и женщины беспощадны, пощадны только души. Делать другому боль, нет, тысячу раз лучше терпеть самой, хотя рождена – радоваться. Счастье на чужих костях – этого я не могу. Я не победитель!» – пытается она объяснить свое возвращение к Сергею.

Не лукавьте, не лукавьте!..
Ты, меня любивший фальшью.
Истины – и правдой лжи.
Ты, меня любивший – дальше.
Некуда! – За рубежи!
Ты, меня любивший дольше.
Времени. – Десницы взмах!
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

Не лукавьте, не лукавьте, Марина Ивановна! Константин любил так, как мог. Но вы-то не зря сетовали:

Не обман – страсть, и не вымысел!
И не лжет – только не дли!
О, когда бы в этот миг явились мы.
Простолюдинами любви!

Вы не зря признавались: «Я всю жизнь завидовала: когда-то простым „jeunes filles“[6] – с женихами, слезами, придаными и т. д., потом – простым „jeunes femmes“[7] – с простыми романами

или даже без всяких. Больше скажу – в любви – чего я над собой не делала – чтобы меня любили – как любую – то есть: бессмысленно и безумно – и – было ли хоть раз? Нет. Ни часу!»

Не лукавьте, Марина Ивановна: Константин любил вас именно так. Но такова уж была ваша натура – с непременной жаждой страданий. Какие-либо качества или некачества Родзиевича тут роли не играли. Вы с ним изведали чрезмерно много физического счастья, чтобы смогли долго нести эту ношу – непрестанного женского удовлетворения.

И Сергей Эфрон прекрасно понимал причины, по которым Марина к нему вернулась. Нет, не это:

От гнева в печени, мечты во лбу.
Богиня Верности, храни рабу.
Чугунным ободом скрепи ей грудь.
Богиня Верности, покровом будь!

И его качества или некачества тут тоже никакой роли не играли!

Вспомним его же собственный диагноз:

«Марина – человек страстей… Отдаваться с головой своему урагану – для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предается ураганному же отчаянию…

И все это – при зорком, холодном (пожалуй, даже вольтеровско-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая – все обращается в пламень. Дрова похуже – скорее сгорают, получше – дольше…»

Константин Родзиевич оказался дровами как раз такими, какими надо!

Оставленного зала тронного.
Столбы. (Оставленного – в срок!)
Крутые улицы наклонные.
Стремительные как поток.
Чувств обезумевшая жимолость.
Уст обеспамятевший зов. —

Так я с груди твоей низринулась.
В бушующее море строф.

Ох, как оно бушевало, это море, как билось в берега материка, именуемого Мариной Цветаевой! «Поэма Горы», «Поэма Конца». И – одно из лучших стихотворений Марины: «Попытка ревности», написанное после того, как она встретила на каком-то русском вечере в Праге обожаемого и не забытого все еще Константина Родзиевича в обществе этой самой Муны Булгаковой, с ее явной влюбленностью, и навязчивостью, и какими-то женскими часиками, которые она ему зачем-то подарила, а он почему-то взял… И разговоры об их возможном браке дошли до Марины. Она приняла, как всегда, возможное – за реальное. А разразилась гневом в адрес человека, который ее не бросал – которого она бросила…

Как живется вам с другою.
Проще ведь? – Удар весла! —
Линией береговою.
Скоро ль память отошла.
Обо мне, плавучем острове.
(По небу – не по водам!)
Души, души! – быть вам сестрами.
Не любовницами – вам!
Как живется вам с *простою*.
Женщиною? *Без* божеств?
Государыню с престола.
Свергши (с оного сошед),
Как живется вам – хлопочется —
Ежится? Встается – как?
С пошлиной бессмертной пошлости.
Как справляетесь, бедняк?..
Рыночною новизною.
Сыты ли? К волшбам остыв.
Как живется вам с земною.
Женщиною, без шестых.
Чувств?.. Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый? Тяжче ли.
Так же ли, как мне с другим?

Ну да, Константин женится на этой самой Муне, а потом вскоре разведется с ней – возможно, и в самом деле не

справившись с пошлиной бессмертной пошлости. Судьба иной раз шутит превесело: Муна окажется соседкой Марины во Франции, в Кламаре, станет помогать ей при родах. Однако это лишь из чувства долга, а вообще-то она никогда не могла простить Марину за тот роман с Константином и отзывалась о ней, мягко говоря, неприязненно. Причем слова «очень тяжелый человек» – это самые теплые.

Впрочем, Муна была права «от» и «до»!

Но вернемся в Чехию.

Какое-то время Марина не могла отвязаться от прежней любви и пыталась уверить даже себя:

Всё ты один, во всех местах.
Во всех мастях, на всех мостах…

Потом принялась налаживать-чинить прорехи в семейной жизни и в собственном сердце.

Первую она залатала, зачав от мужа и спустя положенное время – родив сына, которого она почему-то приписывала даже не Родзиевичу (что было бы понятно), а Пастернаку, которого не видела с 1922 года. Сын же (Георгий Эфрон, Мур) родился в феврале 1925 года. Вторую – с помощью тоже же Пастернака, с которым у нее невероятный по накалу страсти эпистолярный роман, сравнимый лишь с подобным же романом, который произойдет у нее с Райнером-Мария Рильке, знаменитым австрийским поэтом.

Но Рильке – это далекое будущее, так же, как многие другие, вплоть до Арсения Тарковского. А Пастернак звучал в ее душе одновременно с Константином, звучал приглушенно, однако теперь Марина спешно «выставила» его на освободившееся пространство: напитывать ее душу любовной влагой.

«Как всё просто, и если бы заранее знать! Со мной *всегда* так расставались, кроме Бориса Пастернака, с которым встреча и, *следовательно*, расставание еще впереди»…

И в тот туманный ноябрьский вечер 1924 года на Карловом мосту она почти спокойно вспоминала свое невероятное любовное прошлое. Ей сейчас было дико представить, что всего лишь год назад она мечтала о смерти и исступленно звала воду, чтобы поднялась и взяла…

Да, с Константином все было прекрасно, он – лучшее воспоминание ее жизни, и все же это было слишком приземленно, слишком близко – к земле и друг другу!

«Я не люблю встреч в жизни – сшибаются лбами. Две глухие

стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой, еще лучше – радугой, где под каждым концом – клад…»

Но, хоть она и умела виртуозно лгать себе и другим, потомкам и современникам, пражский рыцарь многое помнил и знал.

Бледно-лицый.
Страж над плеском века —
Рыцарь, рыцарь.
Стерегущий реку.
(О, найду ль в ней.
Мир от губ и рук?!)
Ка-ра-ульный.
На посту разлук.
Клятвы, кольца…
Да, но камнем в реку.
Нас-то – сколько.
За четыре века!
В воду пропуск.
Вольный. Розам – цвесть!
Бросил – брошусь!
Вот тебе и месть!
Не устанем.
Мы – доколе страсть есть!
Мстить мостами.
Широко расправьтесь.
Крылья! В тину.
В пену – как в парчу!
Мосто-вины.
Нынче не плачу!
– «С рокового мосту.
Вниз – отважься!»
Я тебе по росту.
Рыцарь пражский.
Сласть ли, грусть ли.
В ней – тебе видней.
Рыцарь, стерегущий.
Реку – дней.

Ну, если пражский рыцарь действительно мог что-то помнить и знать, то, наверное, мог и понимать эту женщину. И если бы камни могли думать абстрактно (Гумилев, которого, между прочим, единственного из всех поэтов любил Константин Родзиевич, был убежден, что камни умеют все: и думать, и летать,

и мстить), – так вот, если бы камни могли думать абстрактно, пражский рыцарь непременно поразмышлял бы над тем, что над Влтавой наклоняется вовсе не женщина – не живая женщина, а некая субстанция, творческая сила, созданная для написания стихов и волею своего создателя втиснутая именно в эту женскую оболочку, обреченную на неисчислимые бытовые мучения – на хождение по мукам. О нет, не они однажды приведут ее на край бездны и заставят исполнить давнее пророчество и давнее желание:

«Я, конечно, кончу самоубийством, ибо все мое желание любви – желание смерти. Это гораздо сложнее, чем „хочу“ или „не хочу“.

И, может быть, я умру не оттого, что здесь плохо, а оттого, что „там хорошо“».

Добавим: и не оттого убьет она себя, что вдруг прозреет: «Любила многих, никого не любила…» Просто-напросто там, где созидали этого творца, этого поэта – Марину Цветаеву, – о ней забыли. Все, что было от нее нужно, она уже написала. Вот и разочлась сама с собой, поняв, что жить ей больше незачем. Кончился божественный завод, перестала играть свирепо-нежная мелодия этого невероятного оркестра, ведущую партию в котором всегда исполняла виолончель…

Виолончель, и кавалькады в чаще, и колокол в селе…

В каком селе, о господи?!

Да только в богом забытой Елабуге так и не прозвонил по ней этот колокол.

notes

Примечания

1

Киот – специальное, богато украшенное обрамление иконы.

2

Между прочим, Марина Цветаева, родившаяся в 1892 году, была, согласно китайскому гороскопу, Драконом, – при этом всю жизнь оставалась ярчайшим представителем этого знака, «которому принадлежит все, который владеет всем, который разрушает все».

3

О, я не могу, я задыхаюсь! *(франц.)*

4

В старой русской орфографии – Блокъ – пять букв.

5

Имеется в виду ранее написанная поэма Цветаевой.

Девушкам *(франц.)*.

7

Молодым женщинам *(франц.)*.